



Аше Гарридо

# ВИДИМО- НЕВИДИМО

Макс Фрай рекомендует

Полупустые земли

Аше Гарридо

**Видимо-невидимо**

Издательство "Livebook/Гаятри"

2011

**Гарридо А.**

Видимо-невидимо / А. Гарридо — Издательство "Livebook/  
Гаятри" , 2011 — (Полупустые земли)

ISBN 978-5-904584-18-4

Аше Гарридо создал мир, в котором отворяется закрытое и проявляется невидимое. «Видимо-невидимо» – зримая магия мира, который никогда не заканчивается и начинается вот сейчас. Дойти до конца, чтобы вернуться к началу... Торопись, пока открыто.

ISBN 978-5-904584-18-4

© Гарридо А., 2011  
© Издательство "Livebook/  
Гаятри" , 2011

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Строитель мостов                  | 6  |
| Мастер Хейно                      | 10 |
| Почтаркина сумка                  | 15 |
| Веревочка для барашка             | 21 |
| Старухины поросятки               | 24 |
| Мэри-горюшко                      | 29 |
| Мать Ууйхо                        | 35 |
| Черная птица                      | 40 |
| Ганна Гамаюн                      | 44 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 45 |

# Аше Гарридо

## Видимо-невидимо

© Гарридо А., 2011

© Livebook, 2011

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

\* \* \*

*С нежностью и братской любовью – Юлии Сиромолот,  
первооткрывателю ууихо.*

## Строитель мостов

Эка невидаль – овца... Вон у меня приятель с Белого берега – тот вообще тюлень, а парень отличный: мастер зоркий и за словом в карман не лезет. И положиться на него всегда можно, а в нашем деле это, сами понимаете...

Ну, доброе утро! И ведь плевать, вот как есть плевать, что люди подумают, а сквозь сон каждый раз заново эта песня в голове. Тьфу.

И где те люди? Мостовое дело не безлюдно, правда, где мост, там дорога, где дорога – там и путник. Порой проходят мимо по своим делам, но слухи-то... Это людям с места на место перебраться – целая история: моста ищи, перевоза. А слухи будто сами собой прорастают, сорная трава. Особенно про нашего брата. Так вот проходят, косятся. Делают вид, что им безразлично, да я уж за долгий век нагляделся...

Ставни крепко закрыты, в спальне темно, так что у нас день еще, вроде, не начался, а Мэри, выбравшись из-под одеяла, шлепает босыми ступнями по полу, шуршит одеждой. Появила передник, волосы собрала в пучок. А я люблю, когда у нее волосы распущены, хмелем выются. Я тоже выбираюсь из-под одеяла и вынимаю заколки у нее из волос, и завязку передника тяну... Не успею тебе поесть приготовить, шепчет Мэри – и вздыхает. Да что ж я, без рук, что ли? Сам о себе позабочусь, иди ко мне...

Потом уж у самого порога еще поцеловал ее... да на весь день не нацелуешься.

Нельзя ей долго так оставаться, хоть и закрыты ставни, а снаружи-то в нашей Долгой долине белый день. Да и мне мою работу делать нужно: обойти всё, что уже есть, осмотреть хозяйским взглядом, пусть место себя хорошенько запомнит, пусть привыкнет к себе самому, крепче стоять будет.

Толкнул дверь – свет хлынул.

Глаза открыл – уже семенит по зеленому лугу белая овечка, и яблоневый сад над ней бело-розовым облаком стоит.

Каждый день, утром и вечером, обхожу долину, сад, у моста посижу... да мало ли. Всё надо рассмотреть, на каждой мелочи взгляд задержать. И то сказать – мелочи... В нашем деле мелочей нет. Каждая травинка, каждый сучок знать свое место должны. А откуда им знать, как не от меня? Вот и напоминаю, приучаю потихоньку. Целый день на ногах, и это еще начало самое, ведь растет место, растет моя земля день ото дня.

Мост отдельной заботы требует. Значит, надо и к нему завернуть, пройтись туда-обратно, пусть и он к своей работе привыкает. Встречу проходящих, поздороваюсь, покажу, откуда дальше перейти можно. Разговоры у нас короткие получаются, разве что напиться предложить, о погоде пару слов. Ну, погода здесь одна и та же на каждый день, и когда еще Дождевой Ао до нас доберется, а своих дождей здесь пока не завелось. Ао придет, когда тут всё хорошо укрепится, потому что сквозь дождь видится всё неясно, может и совсем размыть.

Так вот и иду себе, смотрю по сторонам. И Мэри моя кудрявая следом увязалась. Я и не против: пробежится, травки свежей пощиплет. Утомится – отстанет. Тут у нас без обид, работу мою жена уважает. И я не беспокоюсь, что с ней беда случиться может. Волков у нас еще нет. И пока я здесь – не будет. Потом, может, сами заведутся или придут из других мест. А мне они здесь не нужны. Жена моя...

Есть места, где лучше язычок-то прикусить.

Кто ж виноват, что ее папаша, понесло его поперек путей господних, ляпнул сдуру: овца ты, Мэри, как есть овца! А на закате дело было. Вечерять, значит, они уселись при дороге, а Мэри то ли соль опрокинула, то ли вообще ее в котомку не уложила.

А Клятая пустошь, куда их занесло в недобрый час, место хитрое. Мы такие места называем крепкими, потому что слово, произнесенное там, – крепко, неотменимо. Сразу как ничего и не случилось, папаша привычно ворчал, девица привычно терпела... только утром просыпается папаша – под кустом овечка кудрявая травку щиплет, хвостиком потрусывает, а дочки родной нет как нет.

Что правда, то правда, рассеянная она. Бывает, сядем за стол, а ложки-то она положить забыла. Смотрит на меня, улыбается: что, мол, Хэмиш, не ешь? А мне и слово ей в укор сказать неохота: встану сам, хоть и нашагался за день по долине, не отвалятся ноги, а тут и она вскинется, смутится вся...

Рассеянная. Ну так я бы на вас посмотрел, если бы вам каждое утро овцой оборачиваться, а каждый вечер – опять человеком, вот чем бы у вас голова занята была?

Овца, эка невидаль! У моего приятеля с Семиозёрья, он сейчас Туманную косу высматривает, птица на голове живет – и ничего. Очень даже мужик замечательный, вот уж кому ни мостов, ни дорог проложенных не надо, ходит где хочет. А тут – овца всего-навсего.

Да за нашего брата не всякая и пойдет. Сегодня муж есть, а завтра – ищи ветра. И добро навеки сгинул – нет, вернется. Только вот он и сам не знает, когда вернется, не дано ему знать. Да и вернется – ненадолго. И опять уйдет. Придет в другой раз – а сын уже в притолоку головой упирается, жена с клюкой горбится... И ведь если с нашим братом связалась – и думать не могли другого себе искать. Всё равно ничего не выйдет. Потому что наш брат только в таких местах и женится, где слово крепко, неотменимо. И если сказалась верной женой – верной женой и будешь, а хочешь того, нет ли – дело десятое. Только и остается, что по пустошам скитаться и в безлюдье жизнь коротать. Мастер-то всегда при деле и к зияющим дырам вокруг дома привычен, а жене каково? Словом перекинуться не с кем. И не идут за наших.

А Мэри всегда со мной, и в радость ей это. Сначала один прихожу – место присмотреть. Поставлю дом, заложу сад – и за милой женой, чтобы привести ее под готовый кров, к живому очагу. Вокруг, конечно, сущее безобразие творится, но где я ее нашел, то местечко покривее многих будет, Голый склон называется, там не всякий и из наших надолго задержится. Уж как ее туда занесло – ума не приложу, а она не говорит.

Голый склон – он голый и есть, и ничего там больше нет. Но глина там славная, видно, скоро речка народится рядом, вот и берег есть, а где один берег есть – там мне и работа, лучше нет способа второй берег найти, как мостом к нему дотянуться. Так что я туда с двойным прицелом забрел: и на разведку, и глины гончару Семигоричу добыть – Кукунтай-тюлень ему все уши прожужжал, какая там славная глина, а самому Олесю тогда с Зеленого яру ходу не было. Не устоял бы Зеленый яр без Олесья-гончара. Давно это было, еще до Райдуги.

И вот там, на Голом склоне, я ее встретил. Тьма кромешная, редко где звездочка дальняя пробьется сквозь начальную Тьму, и сидит девушка кудрявая, колени стиснув, пальцами в глину вцепившись, вздохнуть боится: склон-то крутой, как есть голый, глинистый, скользкий... а кроме склона и нет ничего.

Остался в тот раз Олесь без глины, а я вот – жену нашел. Подошел к ней медленно, чтобы не дернулась с испугу, без привычки в таких местах шевелиться и правда не стоит – запросто в бездну канешь... Заговорил спокойно, ласково. Я, мол, Мак-Грегор, строитель, а для такой милой девицы – просто Хэмиш, а ты кто? А она в руку мою протянутую вцепилась пальцами перемазанными, глаза безумные, кричит без голоса: ты живой, живой... Эка невидаль – быть живым! У меня приятель на Лежачем камне, так его еще и не со всякой стороны увидишь, потому что вообще плоский, нарисованный. Но какую музыку делает! Душу вытряхнет и вывернет, и уходишь от того камня, как заново родившись. А поживет на том камне еще – и будет живое место, потому что быть живым – это заразно.

Но в таких местах, как Голый склон, пока кто из наших не поселился, и правда жутко бывает.

До чего паршиво там! От одного воспоминания передернуло. Полез в карман за табаком...

Тьфу ты, опять камешек. Этот сумасшедший с птицей на голове так всем и норовит всучить что-нибудь чудесное. Кому гвоздь. Ладно бы, от старой мельницы, так нет, новехонькое скобяное изделие, блестит, ни пятнышка ржавчины – какая в нем сила? Или вот меня камушком ошастливил. Так себе – галечка морская, я уж сколько раз ее из кармана выкидывал, а она всё там же. Ничего, наведается в гости, верну. А пока – выкину.

Раскурил трубочку, дальше себе иду. Мэри за мной.

Вот наша Долгая долина – тоже еще не совсем... Как Мэри здесь выдерживает? Я-то привычный, я всё вижу, как оно будет, а если смотреть, как оно есть – самому тошно станет. Но я от таких глупостей давно зарекся. Зыбковато здесь пока, и в глазах рябит порой. Как будто вон та яблоня не решила еще, яблоней ей быть или вовсе дубом вековым. Куда ж мне дуб посреди сада?

Чудит местечко, само себя еще не знает, утром выйдешь на крыльцо – начинай сначала... То ли дымка туманная еще не рассеялась, то ли место растворяется в беспамятстве. Мэри уже не боится, щиплет травку поближе к крыльцу или вот за мной увяжется, где виднее. К полудню уже и путники решаются через наш край пройти. Важную птицу здесь не встретишь, всё больше ватаги работников с места на место перебираются, заработка ищут. Косари, каменщики, плотники. Эти всегда выбирают дорогу покороче, торопятся, порой и вовсе сгинут, заплутав. А на жену мою косятся опасливо, но лучше пусть косятся, чем заглядываются.

У меня работа простая.

Уж если человек строит, он строит. Хоть дом, хоть мост. Ясно, в каждом деле свое отличие. Но у нас ведь главное не руками делается. Важно, чтобы у тебя в душе тот мост крепко стоял, даже не то что верить в него надо, а просто – знать. А камни сложить не так и трудно. Я-то сам по этому мосту могу ходить, как только первый камень положил. Я его уже знаю. А другим придется подождать – и не только пока я берега соединю, а пока еще сам мост к себе привыкнет.

И вот иду я так, смотрю по сторонам... хорошо! Обернулся – сад мой издалека видно, крыша сквозь белое едва просвечивает. Но на холм подниматься я сегодня не буду, слишком близко к краю, а Мэри так и не отстала от меня, и если наверх увяжется – увидит, как из-под травяных корней, в бездну спущенных, сочится чернота. Незачем ей на это смотреть.

Так вот стоял я, раздумывая, направо или налево от холма повернуть, а Мэри моя уже на холм взбежала и замерла там, испуганная, и хочет обратно спуститься, и страшно к бездне спиной повернуться... И тут что-то случилось с местом моим, а то и со всем миром нашим. Дернулось всё и дыбом встало, и земля моя зыбкая под ногами волной пошла, и край ее как бы завернулся, и снова дрогнуло... Я сам не устоял, покатился по траве к краю, а в голове сама собой картинка выскочила, как Мэри моя скатерть расстилает: встряхнет ее и по столу волной пустит. Вот так же я крошкой катился по зеленой скатерти, но удержался у самого края. Поднялся на четвереньки, огляделся – а Мэри-то... Оторвался край – и понесло его прочь, от меня, а на том краю Мэри моя.

А как отнесло на пять шагов – свет здешний до того клочка уже не достает, и Мэри застыла над бездной, алой свечой в темноте, только пустота текучая волосы хмельёвые ее колыхает... Вытянулась, зажмурила глаза, кулаки к бедрам прижаты. И плывет от меня в пустоте, навеки от меня ее уносит, и сгинет...

И мне до нее уже не дотянуться.

И стоял я на самом краю моей земли, и смотрел, как уплывает от меня моя жена. И стукнуло: что ж ты, строитель? Мост! Вот ты на одном берегу, вот берег другой, да поторопись, потому что размывает его пустота, тают травинки в чернилах небытия. К самому подолу алому уже подступила бездна.

Но мост начинается с первого камня, и пойти по нему только я смогу, а мне уйти – и не вернемся уже. Останемся вдвоем на мосту между берегов, которых нет, и будет нам жизни на три вдоха, а сюда уже не вернуться нам. Ничего здесь не останется, стоит только мне отсюда уйти хоть на миг. Да и камня нет у меня!

Упал на колени, взрыл сухую траву. Нет, тонко все сеется между пальцами.

И вспомнил – как обжегся. Руку в карман... вот зараза, пусто! В другой... галечка морская с берега неведомого, спасение наше.

Я осторожно положил ее под ноги – и носком притоптал для прочности. И сказал жене: мост я тебе построю каменный, прочный, только ты глаз не открывай, а настил из досок дубовых сделаю, и перила... каменные перила будут, не бойся, руку положи... да, вот так.

И она мне поверила, она наклонилась вперед и коснулась рукой... ох, какая разница, чего она коснулась, хоть ничего там не было еще, а она похлопала ладонью, оперлась и сама, моих уговоров не дожидаясь, подвинула левую ногу вперед. Так и вижу голубой башмачок ее с острым носком, как он скользнул над истаивающей травой и ступил на... Знать-то я знаю одно, а глаза видят, что видят. И видели мои глаза, как маленькая ножка Мэри замерла в пустоте, а в сердце я твердил: мост, каменный, настил деревянный, дубовый настил... перила...

Из зажмуренных глаз Мэри катились слезы – как, бывает, катится пот со лба, и точно так же – как помеху работе, смахнула она слёзы со щек и качнулась вперед, перенося тяжесть с правой ноги на левую, а под правой уже растворялся последний клочок травы, а под левой – чистой тьмой покоилась пустота. Но сердце моё билось ровно. Иначе нельзя. Я знал этот мост, я его держал. Вот только не бывало такого, чтобы по недостроенному мосту кто-то, кроме меня, мог пройти. Но об этом я сумел забыть. Я обо всем сумел забыть, одно было передо мной: первый на свете мост – и никаких еще нет правил, а вот как мы сейчас сделаем – так и будет.

И она шла, ровно ступая, и платье ее алое, нарядное, качалось над пустотой.

А на середине моста, которого еще не было... мост каменный, настил деревянный, перила... как будто опомнилась она. Шагу ступить не может – вот-вот откроет глаза...

Беги! – заорал я, беги, не стой, беги... И она подхватила юбку и рванула вперед, только мелькали зеленые чулки, только вился над коленями алый подол. Одной рукой к животу скомканную юбку, другую руку откинула нелепо и беспомощно, хмельные кудри ветром к лицу прижало, и ровно вот столько ей еще пробежать оставалось, а она протянула руки ко мне и выпустила подол. И он ей под ноги... и она глаза открыла... падает с открытыми глазами мне навстречу, а под ней как есть пустота, а мне еще рук не дотянуть... мост каменный, настил дубовый... и я по тому настилу к ней – и на руки подхватил, сам не знаю, как успел, не должен был успеть. Но схватил ее, держу, а сам назад пячусь и обернуться боюсь. Есть ли еще куда пятиться, или остались мы с Мэри на огрызочке моста, в один шаг длиной, между двумя берегами, которых уже и нет... А Мэри висит головой на плече моем и сладким таким голосом приговаривает: яблони наши... дом... хорошо-то как...

А когда я уже почувствовал под ногами не гулкие доски, а мягкую траву, обмякла моя Мэри и голову уронила. Я ее на траву там же и уложил, смотрю, правда: яблони бело-розовым облаком, черепица сквозь него едва просвечивает, а вокруг трава зеленая, и хорошо-то как... Сел на траву рядом с Мэри... и не помню. И сразу вдруг – морда овечья мне в лицо тычется... Обнял я жену за кудлатую шею, и пошли мы домой.

А что люди на нас косятся, так это мы переживем.

## Мастер Хейно

Из безвременья подрастающих мест он нарочно подгадывал выныривать в осень Семиозёрья. Торопился, как мог, а если дело спорилось – тянул время, лишь бы не промахнуться, лишь бы снова прийти сюда и увидеть бездонную синеву и золото.

Ранняя осень – самое красивое время в Семиозёрье. Край озер и островов весь сверкает в трепетном золоте берез, бересклет и осины пылают алым огнем, темно-зеленые ели стоят торжественней и отрешенней, и дwoится, и множится красота, отражаясь в прозрачной спокойной воде, холодной даже взгляду.

А если не успевал к осени, дожидался уже морозных рассыпчатых снегов, глубоких сугробов, темной, в черноту, зелени елей под тяжкими одеяниями зимы. Тогда дым высоко поднимался в небо, а по ночам вокруг печальной луны серебрилась бледная радуга. Озябшие косули приходили к дому, робко брали с ладоней куски тугого темного хлеба, уходили за деревья лизать соль, разбросанную для них. Лисы мелькали между стволов, особо не прячась: здесь никогда не случалось охоты.

Если и к зиме не получалось – старался управиться к весне, к звонким искрам капели, поющим ручьям. И бродил тогда, оскальзываясь на раскисшей голой земле, хлюпая в серой гуще недотаявшего льда у самого берега, закидывал голову, глядел в исчерченное хрупкими ветвями небо, кланялся зеленовато-белым колокольцам на тонких тугих стебельках, изворачивался, пытаясь заглянуть в прохладное нутро цветка, не надломив стебля.

А если и весну приходилось пропустить – что ж, радовался самой первой, пьяной и буйной поре лета.

Здесь был его дом. И лето стояло, когда он пришел сюда впервые, ступая след в след за мастером, показывавшим тропу между провалами пустоты.

Видаль родился на краю каменистой пустыни в небольшом поселке Лос-Локос, прилепившемся к склону Сьерры. В его родном краю считалось, что лучшие флейты получаются из человеческих костей, а лучшие кости для этого должны быть омыты не только кровью, но и соками уйхо. Мать Уйхо приходила по ночам в пустыню, в самое ее сердце, и оставляла там россыпи серых зерен. Самые отчаянные серрано отправлялись в каменное пекло, чтобы собрать зародышей и продать на местных рынках. С тех пор как за уйхо стали приезжать чужаки из других мест, подвиг храбрецов превратился в выгодное предприятие. Однако не все решались на такое. Отец Видаля не решился, они так и оставались бедняками с кучей детишек. Хосеито был старшим.

Видаль родился на заре, и повитуха, обмыв и спеленав младенца, вынула из сумки крошечное серое зернышко.

– Не рано ли? – спросила Мария Хосефа. – Он такой слабенький...

– Самое время. Умрет – хоть кости подороже продадите, всё не зря мучилась. Такие вот, рассветные – у них-то кости самые звонкие.

Ловко приладив зернышко во впадинке под затылком младенца, повитуха подула на него и удовлетворенно кивнула.

– Приживется, как миленький. Сколько я их пристроила... они любят рассветных, уж ты мне поверь.

– Спасибо, матушка, – сглотнув слёзы, покорно прошептала Мария Хосефа. Вдохновенная мудрость родов уже оставляла ее, собственный уйхо утробно булькнул, и она с искренней благодарностью повторила: – Спасибо. Говорят, малыши и послушнее от этого.

– Еще бы! – согласилась повитуха.

Первого уйхо Хосе Видаль сколупнул нечаянно, когда ему было чуть больше года. С отчаянным ревом малыш кинулся к матери, протягивая к ней обожженный палец. Но получил

только трепку: ууйхо подорожали, а семья едва сводила концы с концами. Хосе заболел тогда, но оправился, в семье появился еще один сын, на нового ууйхо для старшего скопили только через полтора года. Если бы не тот первый раз, говорил ему после мастер Хейно, если бы не те полтора года без ууйхо, ничего бы и не вышло.

Когда Видаль подрост, трепку задавал ему уже отец, ремнем, а после и кулаками.

Хосе не хотел огорчать маму и боялся тяжелой руки отца. Он мечтал о том, чтобы вырастить большого красивого ууйхо, не хуже, чем у других ребят. Но стоило ему задуматься – о чем, он и сам не мог потом вспомнить, – руки сами тянулись к затылку... Мир взрывался, дыхание обжигало, свет резал глаза, и звуки терзали слух. Отец расстегивал пряжку ремня. На затылке оставались маленькие круглые рубцы, на спине – длинные багровые полосы, несколько дней жестоко трясла лихорадка, ожоги на пальцах долго не заживали. Но пока новое серое зернышко не прикладывали к обриту затылку, Хосе Видаль видел мир по-другому: пронзительно ярким и отчетливым, и каждая черта его стояла на своем месте, внятно и красиво сочетаясь со всем вокруг.

Видаль вспоминал об этом, убаюкивая печаль и утихомиривая гордость. Нечем гордиться. Он ведь и в самом деле мечтал о красивом толстом ууйхо, как у всех. Просто у него не получалось. И никакой его заслуги в этом не было, по крайней мере, поначалу. А потом он всё больше и больше чувствовал отчуждение сверстников. Он был не таким, как они, хотя никто не смог бы сказать, что с ним не так. Со временем он и сам расхотел становиться похожим на них, и тоже не мог бы объяснить, почему. Он по-прежнему мечтал порадовать родителей, но ууйхо уже не держались на нем. Мать плакала, отец ругался и колотил его. Они оба желали ему добра.

Видаль вспоминал родительский дом неохотно. Странное чувство вины все еще тревожило его порой: не оправдал надежд, не стал таким, как надо... Он скорее бы умер, чем согласился бы стать таким, каким хотели его видеть отец и мать. Он ни за что не отказался бы от своей новой жизни, но когда вспоминал родных, чувствовал себя предателем – и ничего не мог с этим поделать. Приходилось жить так.

Он обрел свой дом в озерном краю, выросшем под холодноватым медлительным взглядом его приемного отца.

Первым человеком без ууйхо, которого увидел Видаль, был мастер Хейно.

Хосе сидел на пороге дома, еще слабый после лихорадки, и разглядывал яркий настоящий мир, совсем иной, чем неделю назад. Что-то натянулось в воздухе, зудело в кончиках пальцев, как будто приближалась гроза, но небо было чистым и ветра не было. Пустынный скворец, залетевший во двор, чернявый, длинноносый и тонконогий, как сам Хосе, исчеркал пыльную землю следами, взлетел на ворота и смотрел оттуда блестящим глазом так, словно ожидал от Хосе вопросов, готовый дать ответ сразу на все. В горле застрял шершавый ком, хотелось откашляться или заплакать. Хосе попробовал прочистить горло – и кашель согнул его пополам. Когда он отдышался и поднял глаза, в воротах стоял человек.

Хосе и не понял сначала, отчего ему показался странным этот прохожий в запыленной одежде, чужак, бродяга, остановившийся напротив их дома ранним октябрьским вечером. Что-то, кроме истрепанной одежды, стоптанных, но крепких сапог, молочно-белых волос и светло-зеленых, почти прозрачных глаз – что-то еще смутило Хосе в облике незнакомца. Тот тихим голосом попросил напиток и улыбнулся. Мальчик вынес ему воды в кружке. Бродяга медленно отпил половину, а потом плеснул на ладонь и умыл лицо, плеснул еще – и протер шею, затылок... И тогда Хосе понял. Осанка незнакомца, несмотря на усталость, была прямой, он не гнул шею под привычной тяжестью ууйхо. И в глазах его было такое, чего Видаль никогда еще не видел у людей, только иногда – в зеркале. И улыбка у него была...

– Заберите меня отсюда... – выдохнул Видаль, тихо-тихо, чтобы не услышала мать в доме и отец, чинивший повозку во дворе. – Заберите... отсюда...

И, чтобы показать, в чем дело, быстро провел рукой по затылку и шее вниз, сколько достал.

– Они опять... нового... я не могу больше.

Незнакомец окинул его быстрым взглядом, как будто измерил вширь и вглубь, едва заметно кивнул и, посмотрев вперед вдоль улицы, снова перевел взгляд на Видаля: понял ли? Видаля понял.

Через час, когда уже стемнело, он нашел незнакомца на краю поселка. Тот поджидал его, сидя на камне у обочины. Увидев Хосе, он поднялся и пошел вперед, не оборачиваясь, а Хосе пошел за ним, и они шли и ни о чем не говорили до самого утра.

Потом мастер назвал свое имя: Хейно Куусела.

Мастер собирался пересечь пустыню с караваном из Лос-Локоса. Там, на другом краю Десьерто, был известный переход – до Суматохи, а уж оттуда куда угодно попасть можно. Но теперь из-за Видаля придется идти самим. Видаля уверенно объяснил, что это невозможно. Мастер только пожал плечами: выбора не было. Видаля согласился. Вернуться домой было хуже.

Когда они уже не могли встать и лежали на раскаленных камнях, глядя на кружащих высоко в небе стервятников, Видаля, измученный жаждой, спросил, правда ли, что каждый человек рождается с родничком на голове.

– Правда, – мастер едва шевелил изорванными жаждой губами. – Но потом родничок закрывается, малыш.

Видаля не расслышал его ответ, он не терял сознания, а только думал, как же так, ведь если бы не закрывались роднички, люди не умирали бы в пустыне... А потом ему приснилось, что он лежит в журчащем потоке, и прохладная вода бежит справа и слева от него.

Мастер тряс его за плечи. Видаля сразу проснулся и неохотно открыл глаза, жалея расстаться с волшебным сном. Но одежда на нем пропиталась водой – и лицо мастера было мокрым.

– Вот ты кто... – зеленые глаза мастера стали совсем прозрачными. – Хорошо.

Они напились, отдохнули и продолжили путь. Родник притих, но не затворился, волосы у Видаля оставались мокрыми – хоть выжимай, одежда на спине не высыхала, а он и не думал печалиться.

– Кто я? – спросил он у мастера. – И что хорошо? И почему?

– Тебе открывается закрытое. Вот кто ты. Хорошо, что ты быстро это узнал. Ну да, знание было скрыто – и открылось тебе, иначе не могло быть. Почему хорошо...

– Почему? – повторил Видаля.

– Потому что не всё закрытое надо открывать, – нахмурился мастер. – А если тебе это так легко... Лучше знать и быть осторожным. Лучше раньше.

Родничок так и не закрылся до конца, волосы Хосе Видаля всегда оставались мокрыми, но он привык – и не жалел об этом.

На следующее утро они прошли совсем немного. Мастер вдруг сказал:

– Да, пожалуй, уже можно.

И остановился, опустил на камни тощую котомку, стал оглядываться.

Видаля ждал объяснения, но мастер без всякого выражения на лице вглядывался в каменистую равнину вокруг. Добавить хоть слово не соизволил.

– Что можно? – не выдержал Видаля.

Мастер повернул к нему удивленное лицо. Потом терпеливо улыбнулся и всё-таки объяснил:

– Зачем нам идти к переходу, если ты в любом месте можешь отворить путь?

Теперь удивился Видаль: какой еще путь, кроме того, что лежит перед ними – на все стороны разом пустыня вокруг.

– Как родник открыл – так и путь откроешь, – отрезал мастер.

– Я не умею...

Но мастер даже внимания не обратил, продолжал оглядывать окрестности. Хосе вздохнул.

– Где открывать?

– И правда, – буркнул мастер Хейно. – Где? Сам ищи, я – точно не умею! – сел на камни рядом с котомкой и погрузился в молчание.

Хосе потоптался, озираясь, но искать было нечего. Украдкой взглянул на котомку – кроме мотка бечевки и пары сухарей в ней ничего уже не оставалось. Вечером съели по такому же темному, каменной твердости сухарю, запили водой, вот и всё.

– Дома обедать будем, – бросил мастер, не оглядываясь. Видаль сглотнул, сердитый. Он уселся чуть поодаль и принялся ковырять ботинок – подошва отстала, из протертого шерстяного носка торчали грязные пальцы. Тоже есть просит, уныло подумал Видаль.

Так и сидели, кто кого переупрямит, а солнце ползло вверх, накаляя камни. Видаль старался думать о чем-нибудь... о чем-нибудь вообще, кроме двух сухарей в котомке, но маисовые лепешки... и толченый маис с чуточкой мяса, завернутый в маисовые листья... это тоже была еда, а больше не думалось ни о чем. В желудке сосало. Мастер сидел рядом, как неживой, только что дышал. Видалю стало совсем грустно и жалко себя, голодного, брошенного посреди каменных россыпей на милость чужака. Что за обед может быть у него в доме? Из какой муки делают такой темный тугой хлеб, что сухари получаются черные и каменные? Часто ли бывает мясо в котле?

Как будто сквозняком потянуло – прохладная узкая струя низко над землей. Пахло влагой... зеленью... сырой древесиной... В мокрой одежде Видалю стало зябко, он поежился, озираясь. Но вокруг так же стеклянно дрожал воздух над раскаленными камнями.

– Ты это чувствуешь? – спросил Хейно Куусела. – Или мне кажется?

– Как будто из-под двери тянет, – пробормотал Видаль.

– Как будто! – вскинул голову мастер. – Торопись, пока открыто... – и бросил камень перед собой. Камень исчез, не долетев до земли. Видаль ахнул, а мастер наставил на него палец и очень раздельно произнес:

– Иди за мной шаг в шаг, след в след. Это недолго. Никакой опасности нет, если ты сам не оступишься.

За дверью ничего не было. Не было света. Не было даже темноты.

– Ничего не видно, – пожаловался Видаль.

– А ничего и нет, – ответил мастер. – Но меня-то ты видишь?

Видалю с удивлением понял, что видит мастера так же хорошо, как видел его по ту сторону двери, при полуденном солнце. Только свет здесь был ни при чем. Мастер просто был – там, где не было больше ничего. И не заметить его было невозможно.

– Не стой на пороге, – поманил мастер. – Захлопнется дверь – тебя сшибет. Иди сюда. Видишь, где стою?

Переставляя по очереди ноги и давая наступать на свои следы, мастер провел его в темноте. Всего-то шагов пять, но Видалю они показались длиннее, чем весь их путь через пустыню.

Когда наконец мастер повернулся к нему спиной и отпустил его руку, Видаль почувствовал, что его ноги дрожат, как у новорожденного ягненка, и весь он был мокрый, трясущийся.

Но вокруг – было. Остро и ясно Видаль почувствовал эту разницу теперь. Вокруг плотно и надежно стояло живое нечто, двигалось внутри себя своими частями, колыхалось, шелестело, дышало. Присутствовало. И мастер почти растворился в темноте – здесь была и темнота, и

слабый свет откуда-то сверху. Видаль поднял голову – и увидел исчерченный черными ветвями круглый лик луны.

Видаль слышал тихий стук подошв на деревянных ступенях, скрип двери, чирканье и шипение разгорающейся спички.

– Добро пожаловать, – сказал мастер.

Когда бы ни случилось ему прийти домой, ранним утром или в непроглядную темень, под проливным дождем или увязая в сугробах – первым делом Видаль шел на холм, где спал его мастер. Так получилось – за неразумие ученика приходится платить учителю, и даже жизнью. Видалю осталась работа – он и работал за двоих. А наказывать себя его отучил мастер. Когда под неумелым взглядом ровный светлый березняк шел рябью и коверкался, Хосеито Видаль принимался бить себя по голове кулаками и словами клясть. Мастер хватал его за руки и встряхивал. Наказанием порчу не исправишь, говорил. Своей болью чужую не искупишь. Можешь исправить – исправь, не можешь – забудь, делай новое, говорил. Только не сказал, что делать, когда и исправить невозможно, и забыть нельзя. Пришлось Видалю своим умом дойти: похоронил Хейно Кууселу, дорастил Семиозёрье, да и дальше пошел – растить мир. А могилу на зиму устилал свежим лапником, чтобы теплее мастеру спалось.

## Почтаркина сумка

День клонится к вечеру. По дороге катятся телеги, на телегах – горы сена аж до неба. По небу медленно и величаво плывут громады облаков, отбрасывая тени на склоны Кудыкиных гор.

Места – как облака в небе, плывут вроде и вместе, но мимо друг друга. Петрусь на заработки ушел – третий год ни слуху, ни весточки малой. Вот бы Ганне с облака на облако... с места на место. И перекасти-поле, что поминают по-старому старые старики, тут не в помощь: докатится до края – и обратно вразвалочку по перепаханым полям, до самых Кудыкиных гор. А за горами теми нет как нет ничего – одна только черная чернота, но и ее никто не видел. А кто видел, того божевильным прозывают: мать с отцом не узнает, имени своего не вспомнит, съела его душу черная чернота, поминай как звали. Был человек – осталась шкурка набитая, чучелко ходячее, без воли и соображения. Так говорят. А сама Ганна, Панаса Гомоная и его Одарки старшая дочь, не видела никогда ни черной черноты, ни божевильных, кто ей душу скормил. А потому не верила. Знать знала, а верить не верила, что за ярким небосводом, изукрашенным жемчужными рассветами, золотыми закатами, опухшим белой пеной облаков, исчерченным стрижами да касатками, – неживая пустота. Чудилось ей, что мир весь живой, до последнего колоска, до камушка, в траве укрытого, до капли дождевой – весь. И нет этой жизни ни края, ни предела.

И ведь ушел же куда-то Петрусь, в другие места, а чем они от нашего другие – никто и объяснить толком не может. Где они? «Там», – отвечают. Там. Что за там-там-там, тум-тум-тум, глухо копыта в утоптаный глинозем, ох, далека дорога – где-то там обрывается видимый путь, начинается незримый. Туда и ушел Петрусь, и Грицько ушел, и сколько еще парней ушло лучшей доли искать – нареченные невесты дома ждут. А никто еще не вернулся. То ли лучшей доли не нашли, по сию пору ищут. То ли дороги обратной не сыскали. То ли наоборот – нашли лучшую долю, да делиться не захотели, ни с земляками, ни с отцом-матерью, ни с прежней коханой.

Тяжко Ганна вздыхает. Разве можно не верить Петрусю, думы черные до сердца допускать? Совестно. А вот ведь сердцу не прикажешь. Ни любить не прикажешь, ни не любить; ни верить – ни не верить. И мысли из головы, как маковые зерна из сухой головки, не вытрясешь.

Вот и лежит Ганна у дороги в колючей траве, вместо того чтобы споро вышивать нарядные рубахи красным и черным шелком. Лежит в траве, смотрит в небо, облака считает – а мест, говорят, без счета, потому что, сколько ни считай, мастера-глядельцы еще новых нарастят, да между прежних утвердят, вот и начинай заново считать всякий раз.

Где-то Петрусь нынче? На каком из облаков его представить – будто сидит на белой летучей горе, как на верху снопа, и катится под ним дорога, а он дремлет, мечтает о Ганнусе своей ненаглядной? Верный ведь он, Петрусь, как можно иначе о нем думать? Потому только и нет весточки до сих пор, что третий год уже не заходит в их края письмоноша. А зашел бы – и принес бы весточку.

Письмоноша-почтарь ведь не своей волей по свету гуляет. Где окликнут, остановят – там и устроится, хоть на лавке в корчме, хоть в честной хате, хоть у обочины: писать письмо, облекать чужие слова в торопливые завитушки. Куда письмо пошлют – туда и письмоноша. А на другом конце пути точно так же где придется, где застанет получателя – развернет треугольничек да прочтает вслух, что сам же написал.

Отчего же к Кудыкиным горам давно письмоноши не заходят? Разве не шлют их сюда Петруси да Грицьки? Нет, не хочет тому верить Ганна. Просто много-много писем скопилось в почтарской сумке, еще вперед написанных, прежде надо их разнести, тогда уж и кудыкинским очередь дойдет.

А Ганна ждет, Ганна верная, как Петрусь, крепка любовь между ними, ничто ее не разрушит, уж разлука – точно нет.

Ганна писем бы никому читать не доверила. Что с того, что письмоношей уже написано письмо – сам, небось, молчуну Петрусю слова сложить помогал. Да только с того мгновения, как сложили листочек – письмоноша уже ни при чем. Ганна недаром всю зиму в приходскую школу бегала: и прочитать письмо сумеет, и свое в ответ из букв сложить. Сколько бумаги за зиму, за весну извела – страсть! Полный ларчик, из кипариса резанный, доверху письмами уложен. Буковка к буковке, словечко заветное к словечку. Хоть и не очень ровно – зато все тайны сохранит только себе и Петрусю. Ну а что коханому читать письмоноша будет – так Ганна того не увидит, а чего не видишь, того и нет. Как той черноты неживой за ярко-голубым сводом.

А свод синееет сверху, наливается снизу темным румянцем, у облаков загорается золотая оторочка, земля остывает. Неуютно Ганне лежать, однако и вставать лень. Станет мать бранить ее, что на весь день из дому сбежала, всё светло пробездельничала, теперь в ночи ради нее лучину жечь. Пригрозит усадить вышивать в темноте на ошупь. А раз уже всё равно бранить станет – так и некуда торопиться. Лежит в траве Ганна, смотрит на закат. Уж прокатились телеги...

Да вдруг подолом летящим солнцем застило, ноги против красного света – черные, быстро шагают, широкий подол по-над сапожками бьется, из-под него солнце мелькает, мелькает. Что за странный крой, дивится Ганна, вроде поповского облачения, что и длинно – и шагов не режет. Приподнимается на локтях, смотрит – идет спорым шагом женщина по дороге в сторону их Кривой балки, платье точно нездешнее, волосы – вороново крыло, лицом смугла, нехороша, немолода, по-девичьи непокрыта. Что за диво такое в поздний час на дороге? Пригляделась, а за спиной у пришлой – почтарская сумка, такая же, как давным-давно Ганна своими глазами видела у Акино-письмоноши.

Растерялась так, что пустила почтарку уйти далеко вперед. Кинулась следом – догонять. Та, не оборачиваясь, спросила на ходу: у вас в хате переночевать можно?

Ганна было запнулась: отца ж с матерью спрашивать надо. Да какое там! Сами же отругают, если упустит такую постоялицу. А так – похвалят, мать и не помянет отлучку. Можно-можно, вскинулась Ганна и, чтоб уж наверняка не упустить – ой, давайте я вам сумку нести помогу. Письмоноша ловко увернулась. Никому, говорит, нельзя мою ношу нести. Почтарская сума – не просто так. Не тронь, если жизнь твоя тебе дорога. Ничего не поняла Ганна, но приставать более не стала.

Через полсела вела Ганна письмоношу – для верности за рукав, чтобы не отбилась дорогая гостья, не досталась кому другому.

– Это Марсия! – хвасталась своим уловом дивчина. – Письмоноша! Марсией кличут!

Смуглянке кланялись, она улыбалась всем в ответ, но послушно шла за Ганной. Никто пути не перебивал: ясное дело, коли пришла почтарка в село, то не на один день. Сколько-то писем здешним принесла – все прочитать надобно, да столько же и еще полстолька писем от здешних написать, кому в ответ, кому просто так весточку: о прибавлении в семействе, о смерти бабки-замшелки, о благополучном отёле, о свадьбах-женитьбах, о чем только люди друг другу не пишут... А прежде чем с письмоноши трудов спрашивать, надо принять, в бане вымыть, накормить-напоить, спать уложить – словом, дать отдых, как всякой живой душе с дороги-то. Малышня голопузая бежала впереди, крику – на всю округу.

Когда Ганна привела гостью до хаты, мать уже суетилась, уставляя стол мисками и крынками со всяческой снедью: и пампушечками, и галушечками, и вареничками, и товченичками! Благо дело к вечеру, семье большой за стол сдаться время подоспело, все готово было, иначе бы Одарке беда. Не хватало еще, чтобы в чужих краях письмоноша помянула недобро принявшую хату. И село долго еще на всех ярмарках стыдить будут, и хозяйке позора не оберешься,

а уж соседки – те проходу не дадут, де у них письмоноше никаких лишений и неудобств терпеть не пришлось бы, а так клятая Одарка-неумеха на всех беды накликала. Так уж Одарка расстаралась!

Да не впрок те старанья вышли. Среди ночи разбудил Ганну долгий мучительный стон – сверху, чуть выше головы шершаво тянулся он в темноте. Там на Ганниной постели уложили гостью, а Ганне постелили рядом на полу. Сон мигом отлетел – дивчина подскочила, наклонилась к гостыной подушке: или приснилось что, или с обильной трапезы живот прихватило, или попить принести? Гостья туго притянула коленки к животу, закусила губы – глаза в пол-лица черные, чернее темноты ночной. От луны на влажной щеке серебрится пятно – то ли слезы там, то ли холодным потом от боли исходит Марсия. Злая, злая соняшница пристала!

За лекарем послали, не дожидаясь утра. Вот уж было соседкам радости рассуждать, то ли вареники у Гомонаевой Одарки лишь на подошвы годятся, то ли сметана не свежа. Да только лекарь ясно сказал и на крыльце, по просьбе хозяйки, громко повторил: ни еда, ни питье тут беде не причина. А причина – нарыв в животе, и сделать с ним ничего нельзя, а что село для почтарки еще сделать может – так одарить ее последним домом да клочком земли на погосте.

Мать всё сердилась на Ганну: привела в дом беду, привела позор. Язык у человека, а пуще того у бабы – что твоя лопата, все перевернет, что на него попадет. Хоть и сказал лекарь ясно и громко, да через три двора уже переврут, а на ярмарке в Сорочках всякая Солоха со всем убежденьем расскажет, что Одарка письмоношу нарочно опоила. И причину назовут. Да вот хоть так: Панас де Гомонай на почтарку глаз положил, а Гомонаева Одарка и того... И так складно врать станет, что даже те, кто сами лекарский приговор слышали – и они поверят. Мало ли что лекарь скажет! Может, привадила его Одарка варениками своими или еще чем. Солохе завсегда виднее.

Словом, сидеть с умирающей велели Ганне.хлопот не много – маковым отваром напоить да пот отереть. А чтоб не скучать, да от стонов, от слов бредовых, бессвязных отвлекаться – вышивание в руки, крестик за крестиком ложатся ровно, черный – красный, красный – черный. А у изголовья пыльная почтаркина сумка прислонена к ножке кровати. Взглянет на сумку Ганна – и капнет слезой на черное-красное. Сколько писем написала Петрусю за два года – как ждала почтаря в село! Пришла вот... умереть. А кто теперь Ганнину любовь верную по свету понесет, с места на место, с Кудыкиных гор до той неведомой краины, где Петрусь лучшей доли ищет? Некому. И спросить не с кого. С костлявой только – да спрашивальщиков таких не водится ни в Кривой Балке, ни на Кудыкиных горах, ни во всей Кудыке, земле невеликой, месте нешироком, одном из бесчисленного множества мест в непроглядной пустоте, что караулит за синим сводом небес. Да, поди, и во всем мире, во всех местах его ближних и дальних – не найдется спрашивальщика, чтобы со смерти спросить за порушенные Ганнины надежды. Взглянет Ганна на сумку почтаркину – да сквозь слезы и на почтарку саму, – и совестно станет ей. Вот человек живой с жизнью прощается, а она – письма... До того ли должно ей быть? А как застряло поперек души: письма-то, письма – как же? Ведь не только ей, ведь всей Балке, всей Кудыке оставаться без вестей. И по-за Кудыкой, поди, ждут. Вот пришло в голову помереть! Нашла время-то. Разнесла бы почту, прочитала – хоть бы только в Балке – и помирала бы себе на здоровье. За три года не нашла времени к ним заглянуть – так здрастье, пришла.

И за щеки схватится, сама от себя смутится. Но злость не уходит. Как будто письма ее, голубками белыми сложенные, не в шкатулке теснятся, а в груди – и рвут ее, и бьют острыми клювами, и топчут коготками, словно соломенную клетку.

А из сумки слышатся Ганне голоса. Тихо-тихо так шепчут, торопливо бормочут, смех оттуда раздаётся словно, а то сдавленное рыдание, и ласковые слова звучат, и попреки, и подсчеты, и печаль там, и радость, и будни, и праздники – всяк на свой лад. И как будто на чужих языках тоже говорят – а Ганна вроде всё понимает. То ли слова ей вняты, то ли по звучанию речей открывается смысл. И манит, манит сума к себе, вполголоса еще, вроде, но как родную.

Ночью того пуще голоса зазвучали. Снова Ганна прилегла на полу – что бредящей почтарке ее пригляд? Мечется в жару, сердце в ней часто-часто бьется, даже страшно, что вот выскочит. На голос не откликается, на имя не отзывается, не внемлет ничему, не понимает ничего. И только бормочет, бормочет невнятное что-то. А сквозь ее приговоры слышатся Ганне иные речи, да не разобрать за тем бредом-то.

Но не решается Ганна в сумку заглянуть. Помнит слова почтарки – «если тебе жизнь твоя дорога». А рядом и сама Марсия умирает, как не испугаться? Еще день не решается и еще ночь. Так и не решилась бы, поди, если б на другое утро не послышался знакомый голос из сумы. Ой, Петрусь, оюшки-ой... Почтарка лежит, маком опоенная – а всё стонет, жалко ее. А в суму ей точно больше не заглядывать, не носить ее с места на место, не читать добрым людям писем, не писать, что скажут, на дешевой сероватой бумаге, ничего-ничего уже, совсем ей ничего. Вышла вся ее служба, и жизнь выходит. И тихонечко отложила Ганна Гомонай свое вышивание, поднялась с лавки, в три шажка прокралась, склонилась над сумой, исколотыми пальцами едва коснулась лямки... И – всё уже случилось, тронула уже, нечего терять – дернула завязку, вывернула уголки и конвертики, и трубочки, и картоночки на пол. Разворошила, еще пуще испугалась, когда поняла, что на каждом придется прочесть, кому отправлено. А Петруся больше и не слышать. Притихли голоса, то ли от испуга же, то ли наоборот – от радости. Подняла первый попавшийся листок, глазами вниз скользнула, до подписи: ваш сын Петро. Ах!

– Да не тронь же, дура...

Ганна мало не подпрыгнула. Марсия смотрела на нее – глаза темнее темного, тенью обведены густой, спокойные такие глаза, усталые. Лицо блее наволоки.

– Мне... – только и нашлась ответить насмерть перепуганная Ганна. – Мне... вот... Мне надо.

Письмоноша поморщилась, прикрыла глаза.

– Ну раз надо – бери. Я свое отбегала.

– А что, – глупо спросила Ганна, – я теперь тоже умру?

– Умрешь, умрешь, – криво улыбнулась письмоноша. И долго молча дышала – быстренько так, страшно. Потом сказала еще: – Не теперь. Сперва побегаешь.

– А ты ж сказала, – настаивала Ганна, сама стыдясь своей настырности к умирающей, но жаждающая дознаться правды. – Сказала – если жизнь моя мне дорога. Чтоб не трогать.

– Тронула? – через силу прошелестела Марсия. – Жива?

– А как? А что?

– А так. А то.

Видно было, что наскучил почтарке разговор, не нужен он ей, и сама она не здесь. Но зачем-то отвечает, всё отвечает на глупые Ганнины страхи.

– Не твоя жизнь теперь. Не твоя. Руку дай. Боюсь я.

Ганна попятилась. Марсия едва приподняла прозрачные веки.

– Дура. Не того боишься. Не ведьма я. Не... – Прозрачная ее рука скользнула с перины, указав на суму. – Вот. А я не... Дай руку. Дай.

Уже без голоса говорила, да и без соображения – а Ганна все разбирала по губам ее искусанным, синим уже от смерти. И подошла. И обеими руками обхватила почтаркину руку. А после закрыла ей глаза.

А Ганне Гомонаевой перекажите, чтобы ждала, как уговор был. К Рождеству вернусь – там и свадьбу сыграем.

Схоронили письмоношу чин по чину, уважили. В освященную землю положить отец Онуприй не позволил, а в остальном ничем не обидели: поминки устроили всем селом. А после стали звать того же отца Онуприя, чтобы, по делу своему грамотейскому, оказал миру услугу: прочел письма, какие в Криву Балку были. Но поп и тут открестился – темны пути почтарские, неведомо как находят письмоноши дорогу, не богом ведомы, а человеческими страстями. Негоже пастырю прихожанам своим дурной пример подавать. Ну и другие грамотеи, что были на селе, следом отказались.

Ночь не спав, наутро послала Ганна меньших братьев Левко и Ничипора пробежать по селу да покричать, чтоб собирались у хаты Панаса Гомоная – Ганна де Гомонаева будет почтаркину сумку разбирать и каждому, кому письмо найдется, прочтает его. Отца, значит, не спросясь.

Мать не хотела выпускать на крыльцо, грозилась кинуть сумку в печь со всеми письмами. Отец увещевал набежавших мирян разойтись. Но к полудню сдался: всё село собралось, от мала до велика, чуть плетень не опрокинули. Тогда Ганна вышла и села на крыльце. Один за другим вынимала сложенные в уголок листы, шевеля губами, разбирала имена; чужие письма складывала на ступеньку, что своим – выкликала получателей, чтоб садились рядом и слушали. Старательно, по слогам, читала – громко, чтоб заглушить причитания матери, прятанной за приоткрытой дверью и полдня уговаривавшей доню одуматься.

Родителям Петруся тоже прочтала письмо – кроме тех строк, где про нее говорилось. Что надо было ей переказать, она уже и сама вперед их знала, ну так и нечего из пустого в порожнее переливать. Она Петруся и без его наказов ждет – уговор ведь был у них. И не ей говорить его отцу о свадьбе, так ведь? Вот и пропустила это место. Сам Петрусь скажет, как вернется. К Рождеству. Еще всё лето до осени и осень вся целиком, да целый месяц с гаком зимы...

До вечера закончила читать, нездешние письма сложила обратно в сумку, а здешние по домам разобрали. Думала, всё на этом – да как бы не так. Назавтра потянулся народ к крыльцу с самого утра. Мать Ганну растолкала со злорадством: смотри, что натворила! Ганна и не уразумела сначала, отчего это люди опять улицу против их дома запрудили. Она-то вчера всё до последней строчечки прочла, всем громко сказала, что письма в Криву Балку кончились. А глядь – те же лица, что и вчера, и плетень уж покосился. И тут дошло ей в голову, тут побелела вся, ножки подкосились, затряслась. Сама уж просила мать... Та ее вытолкнула на крыльцо: расхлебывай.

Так вот случилось, что еще через день Ганна Гомонаева в крепких сапожках, в сорочке вышитой, в новой нарядной плахте, со свиткой в котомке, на случай холодов в дальнем пути, – одарила всё же мать на прощание! – и с почтарской сумкой через плечо вышла за околицу и зашагала в сторону Кудыкиных гор. За ними, говорят, есть перевоз – и перевозчики при нем. Они сквозь темень безвидную, сквозь пустоту неживую ходят и кому куда надо – того с собой за руку ведут за приличную мзду. А письмоношу и за так проведут. А куда ей надо, Ганна не знала, но положила себе идти куда глаза глядят, хоть свои, хоть перевозчика, и, как окликнут, останавливаться, искать в сумке письма для спрашивающих, писать им под диктовку. А Петрусь... Ну что Петрусь? До Рождества еще всё лето и осень целиком, может, кто напишет письмо в Криву Балку – а Ганна его и отнесет. А если никто не напишет, тоже не беда. Ганна недаром же зиму в приходскую школу бегала. Сядет и напишет сама. Вот так:

*Прости, коханий, серденько мое, да не судьба нам, видно, да не судьба...*

## Веровочка для барашка

Едва ли пару шагов сделал Хосе по теплому, словно живому, полу мастера дома – и упал как подкошенный. Хейно Куусела невесть как успел обернуться и подхватить мальчика. Цокал и головой качал, пока нес его к широкой лавке, застеленной пестроткаными покрывалами, пока стаскивал истрепавшуюся по пустыне одежду. Да и то сказать, новой она и не была никогда: из отцовой перешивала Мария Хосефа для старшего сына, а за ним уже младшие донашивали.

Устроив ученика в постели, мастер-смотритель принялся за простую домашнюю работу, и сон подкрался незаметно за стуком горшков.

Видадь проснулся на закате другого дня под песню Мьяфте. Сиплым подвываньем показала ему та песня с непривычки. Так вплыл в его сознание дом мастера: колючая шерсть одеяла, запах дыма, синие сумерки в окне, густая тень в углу, темные хлебы-колеса на шесте под потолком, тихий вой колдовской песни. Всё, что было перед этим, из памяти вымыл долгий сон – и Видадь лежал, едва приоткрыв глаза, в чужом незнакомом мире с деревянным потолком и воющей тенью в углу. Где он, как и почему – не знал. Даже самого себя чуть ли не забыл – так странно было окружающее, что и себе в нем не нашел ни места, ни образа.

Завывание стихло, тень закричала и полезла из угла прямо к нему. Видадь затаил дыхание.

– Вот спёкся малой, – произнес смутно знакомый голос и кто-то высокий встал между Видадем и приближающимся ужасом. – Третий день спит.

Вместо тени из-за спины высокого вышла старуха в темных платках до пола. Усмехнулась, глядя Видадю в зажмуренные глаза.

– Уже не спит. Трусит только, а так – здоров.

Видадь от обиды заморгал, но ничего не успел сказать – голос мастера Хейно, теперь уже точно знакомый, возразил:

– Не трусит, осматривается. Осторожный.

– Хорошо бы, да не верится. Глаз не тот. А с его даром очертя голову никуда соваться не след. Эх, намучаешься ты с ним, Куусела.

Старуха подмигнула Видадю из кокона платков.

– Не помру, чай, – буркнул мастер. – Ты своим делом займись, а со своими я сам управлюсь.

– Ну что ж, барашек, сначала кормить, потом чесать – а то всю жизнь из тебя немощного вычешу, ничегошеньки не останется.

– Не пугай малого, Мьяфте, – насутился мастер, складывая на одеяло просторные штаны, рубашку и пестрые толстые носки. – Одевайся, есть пора, да умойся вон там.

– Его напугаешь...

Прежде такой еды Хосе не видал, но не испугался ни печеной с ягодами рыбы из глубокого горшка, ни тугого синеватого киселя, подрагивающего в миске. Черный хлеб был тяжел в руке и пах незнакомыми травами. Мьяфте тоже ела с ними, откинув за плечи длинные концы платка, и Видадь разглядел ее теперь: черные-пречерные брови на сухом морщинистом лице, юный взгляд без горечи – дома у старух Видадь не встречал таких светлых взглядов. Только у совсем молоденьких девушек.

После показала Видадю на пол у своих ног – мастер кивнул. Пол был теплый, чистый, и правда, как живой, Видадь не удержался, провел по нему ладонью, погладил. Мьяфте выпро-

стала из платков кошель, из кошеля вынула сверток, из него – гребень костяной, пятнистый. И давай чесать Видаля волосы – пребольно!

– Ох, и спутана у тебя жизнь, милый, ох, и перекручена... да вот выровняем сейчас, распутаем, волосок к волоску выложим, да посмотрим, как ляжет волосок, прямо иль наискосок, да ровен ли пробор будет, да прям ли...

И принялась приборматывать и подвывать, покачиваясь, и как будто мурашки по всему телу Видаля побежали, острыми лапками перебирая по коже, и Видаля покачнулся... и закачался в лад с бормотаньем и вздохами ворожеи, и видно ему стало на все стороны света, да на сто лет вперед, да будто темные-темные не то лики, не то хари нелюдские выступили из тьмы, заслонив звезды, и прозрачно-льдистые кривые когти протянулись к самому сердцу...

– Эй, эй, старая, память потеряла! Не для того пришла! – мастер стукнул по столу так, что миски подпрыгнули и горшки в пляс пошли.

Мьяфте тряхнула головой – морок отпустил Видаля. Он быстро поднял голову, взглянуть на нее – и обомлел. Юная сидела над ним, темноликая, прекрасная и недостижимая. Накрыла ему лицо шершавой старческой ладонью.

– Не меня видишь. Забудь.

И забыл.

Мастер продолжал бранить ворожею, та, смеясь, оправдывалась:

– Да как за волосы возьмешься – оно само в руки течет, разве легко устоять?

– Да не тебе отговариваться неуменьем, – сердился мастер. – Слабая нашлась! Любопытство в тебе всё женское пережило.

Мьяфте замолчала – как крикнула.

Хейно Куусела осекся, головой дернул. Старуха кивнула. Но не стерпела, ответила все-таки.

– Валялся бы ты у меня в ногах, моего женского выпрашивая...

– Твоя правда, Мьяфте Трехликая. За малого я испугался – шутка ли с тобой в вечность глядеть. А он и так едва в себя пришел.

– Ладно, мастер Куусела, не для того я пришла, чтобы на глупости твои внимание обращать. И ты меня прости: правда, что с любопытством никакая женщина не совладает. Но не проси, не скажу тебе, что видела – ты ведь не удержишься, его предупредишь ради блага его – а никакого блага из этого не выйдет.

И достала из кошеля другой сверток, а в нем был гребень деревянный.

Мастер поправил лучину в светце и придвинул к ним.

Деревянным-то гребнем и принялась Мьяфте причесывать Видаля, временами поджимала губы недовольно, стряхивая ему на колени выпавшие волоски. А сама бережно снимала с зубцов нечто невидимое и складывала себе в передник. Долго чесала, напевая песню мирную, покойную, совсем не такую, как прежде, Видаля и задремал уже. Наконец обмяла невидимую горку на коленях смуглыми пальцами, отложила деревянный гребень, вынула железный.

– Хороша кудель, родниковой водой промыта. Положи-ка, мастер Хейно, к печи сушиться, до утра мне надо и расчесать, и спрясть, и шнурок сплести.

И железным гребнем чесала высохшее невидимое, и выкладывала прядь к пряди, и вытягивала ровницу, и скручивала в коричневых морщинистых пальцах, и крутила, крутила, и под ее рукой вертелось веретено, и гудело темное тяжелое пряслице, скручивая, стягивая к себе темноту из углов.

А Мьяфте снова завела песню – в лад пряслицу. Темной и тяжелой была эта песня, как будто все связи в мире натянулись от нее, как будто всё, что связано одно с другим, враз почувствовало неразрывность связи, тугую причастность одного к другому навеки. И как будто нет смерти, чтобы разлучить одно с другим. Ничего нет вообще, кроме связи всего со всем.

И Видаль увидел, что опутан пуповинами миров, пронизан нитями и шнурами, тянущимися сквозь вселенную во все стороны, прободён отростками ветвящихся смыслов, распластан по непрерывности бытия, многократно раздроблен и умножен в бесконечности... И многое еще, чего он и сам понять не мог, случилось с ним, едва не лишив его рассудка навеки – но мастер Хейно ткнул его в плечо жестким пальцем – и палец оказался острее семантических сучков, и Видаль очнулся.

– Тут уж я ничего поделывать не могу, – проворчала Мьяфте. – Надо, чтобы он был здесь, когда я делаю это. Иначе не свяжешь.

– Ладно, я присмотрю за ним, – сказал Хейно Куусела.

– А что такое? – моргая, удивился Видаль. – Со мной всё в порядке.

К утру готов был шнурок, только Видаль так его и не увидел.

– Как барашка на привязь, – приговаривала Мьяфте, обвязывая ему запястье. – Чтобы не ухнул сам в разверстую бездну. Кто тебя искать будет там, где ничего нет? Кто твой путь проследит, если ни до тебя там пути не было, ни после тебя не будет? Кто к тебе дверь откроет, если она за тобой захлопнется? А сам ты не из всякого места выбраться сумеешь, учиться тебе еще и учиться. Вот тебе веревочка, резвый барашек, чтобы не потерялся. По веревочке мастер всюду за тобой пройдет, на помощь тебе придет, если нужно. Так и живи пока что – на привязи.

## Старухины поросятки

Ганна в тот день и устала, и замерзла. Даром что самая середка весны – с утра дождь промочил чуть не до нитки, после ветер тучи разогнал, одежду высушил, да не согрел. Шла быстро, так что пар поднимался над плечами, над головой. Вроде и жарко, а остановишься – и тут же прохватывает промозглым холодом. Шла к западу лицом, вот и приняла закатные розовые отсветы сквозь мутные окошки за домашний вечерний свет. Да и хотелось крова над головой и огня в печи, теплых стен и горячей еды – чуть не больше всего на свете. А может и не чуть.

Увидела розовый свет в окне – и потом уже только под ноги глядела, чтобы не упасть. Дорога к хутору заросла редкой травой, да в ней попадались то синий шалфей, то желтый мытник, то белые гроздья астрагала, то обломки горшка, то брошенный ухват, то полурасползшийся тулуп почему-то. Ганна механически переставляла ноги и только замечала валяющийся под ногами скарб, но сообразить, что к чему, не могла уже. Оцепенела и телом, и душой, и умом – от холода, голода, усталости тяжкой. Не думала, сколько идти еще, не считала шагов, не смотрела вперед, чтобы не плакать от долгого впереди пути.

Об одном думала: откроют на стук хозяева, увидят почтарскую сумку, обрадуются. В баню проводят, к столу позовут, уложат на чистое, мягкое, теплое. Не станут торопить, до утра отдыхать дадут. А утром Ганна их и обрадует. Не одно, а даже три письма несла им, в разные дни продиктованные одним рыжим парнем, что уехал из дому на заработки. Он каждый раз обещал вскорости вернуться домой – трижды встречала его Ганна в разных местах, трижды виновато разводила руками: не дошла еще дорога почтарская до степного хутора Яселки. А парень только махнет рукой: что ж, значит, судьба такая. И просит новое письмо писать ему, а в письме чуть не слово в слово, что и в первых двух: мол, всё хорошо, денег заработал, не пропил, к Рождеству ждите домой, Анютке передайте, чтоб ждала, ваш Петр. И не знала уже Ганна, смеяться ей или плакать, и потому покорно записывала за парнем и складывала листок уголком, и опускала в сумку. Обещала в этот раз непременно дойти до хутора Яселки.

Вот, дошла. Подняла голову, когда уже у самого дома стояла, – и обмерла. Полон двор перекаатиполя, кучами лежат сухие травяные шары, прибитые ветром к стенам, к колодцу, к открытой двери хлева. И ни света, ни звука, ни тепла. Бежать бы ей, очертя голову, но как будто когда занес уже ногу для шага – невозможно остановиться, надо шагать. Вот так, словно не замечая того, что делает, Ганна прямо в хлев и пошла, пробираясь через сухие шары на негнущихся от усталости и ужаса ногах. Пустой дом показался ей страшнее.

Всё больше леденя, она дошагала до хлева и заглянула внутрь. Темно там было, умирающий вечерний свет едва сочился в щели под стрехой. И белели в нем груды костей – коровьи рогатые скелеты, лежащие на прелом сене. Ганна затряслась вся и попятилась, а скелеты разом повернули к ней костяные свои головы и пустыми глазницами уставились на нее. Страшный крик свой Ганна услышала словно со стороны, пока летела от хлева в дом. Хлопнула дверью, не шадя косяка, обернулась поискать, чем бы подпереть... и задохнулась от тошнотворного запаха давней смерти, разложения и жуткой болезненной гнили. Уже понимая, что пропала, все-таки приоткрыла дверь, выглянула наружу. И в ужасе захлопнула. Коровьи остовы стояли уже под самым домом, другие неторопливо брели от хлева, покачивая белыми рогатыми головами. Мысли еще метались, искали спасения, а в сердце вырастала обреченная тишина. Вот и всё, почтарка, вот и всё, догулялась по лесам и полям, повидала мир – и будет. Отправляйся за Марсией вдогонку, вернешь ей сумку заодно, скажешь – не по плечу. Недалёко ушла ты,

дивчинонько, недалёко тебя ноги унесли от родимой хаты, от матери милой. Вот сколько твоей жизни – вся здесь и вышла.

Да Марсии хоть было кому воды подать, в смертной муке за руку подержать. А ты здесь одинешенька сгинешь, сгниешь заживо, изойдешь смрадной жижей.

Коровья белая башка сунулась в тусклое окошко, гулко замычала. Слышно было, как другие остовы трутся боками о стены, скрипят, постукивают разболтанными суставами. Кто бы ни сгнил в доме, он хоть не подавал звука, не шелохнулся в темноте. И на том спасибо, но ни шагу от двери не ступила Ганна: чудилось, что до мертвяка рукой подать. Так и скорчилась, вжавшись в косяк, и гадала, пропадут ли скелеты к утру и сможет ли она тогда наносить себе воды из колодца, или будет уже лежать в бреду и беспамятстве.

В дверь стукнуло и уперлось, костяной скрип и жуткое неживое мычание раздалось над самым ухом. Ганну отбросило от двери – но она тут же швырнула себя обратно, всем телом навалилась на створку, подперла ее спиной, уперлась ногами в земляной пол. Дверь ходуном ходила и прогибалась, Ганне казалось – вот-вот острый мертвый рог вопьется ей между ребер.

И тут тьма в доме сгустилась и из нее неспешно выплыла старая старуха, замотанная с ног до головы в широкие темные платки. Она была страшная, но вполне живая и на вид здоровая, только очень старая. От нее пахло сырым темным лесом, мхом под корягой, чащей, чисто и горько пахло древесной корой.

Старуха подошла и приложила сухую, исковерканную годами ладонь к двери. Толчки прекратились, только нетерпеливый скрип выдавал страшное присутствие.

– Ну и угораздило тебя, девушка, – сказала старуха.

Ганна молчала, не зная, какой из прыгающих на губах вопросов выпустить первым. Да и зубы у нее стучали громче костей в тех остовах.

– Ладно, если не сробеешь, выведу тебя отсюда.

– Да можно ли мне к людям теперь? – боясь надеяться, спросила – пощады попросила! –

Ганна.

– Теперь нельзя, – отрезала старуха. – А после будет можно. Идешь?

– Иду, бабусенько.

– А со свиньями управляться умеешь? – строго глянула на нее старуха, уже взявшись за створку.

– Умею, бабусенько, и корму задать, и почистить...

– Ну идем. Помогай мне! – и старуха шагнула во двор, размахивая платками и громко шикая.

– Кыш вы, кыш! Вон пошли!

– Геть! – хрипло вторила ей Ганна, отмахиваясь почтарской сумкой, – геть, скаженные!

В темноте она видела перед собой только старухину спину, взмахи и всплески огромных платков, шагала за ней след в след, стараясь держаться поближе, да по сторонам не очень-то глазела. – Пішов геть! – и не смотрела, кому кричит, просто шла за старухой, вдыхая свежий, горький запах коры, мхов, хвои. И когда с живым деревянным скрипом приоткрылась калитка в высоком частоколе, Ганна, не раздумывая, шагнула следом за старухой, и остановилась в тесном дворе, залитом мертвенным синеватым свечением из глазниц торчащих на кольях человеческих черепов.

– Что ж ты меня, старая – обманула? – зашипела Ганна, крепче сжимая и отводя в замахе сумку. – Вывела, да? На самый тот-позатот свет? Вот ты кто, коровья смерть!

– Ну ты, дура-девка, огонь-девка! Охолони, слышишь? Я никого не обманываю, без нужды мне. А коли тебе здесь не нравится, разворачивайся – и геть откуда пришла: за калитку, да глаза закрой, да три шага пройди. А провожать тебя мне недосуг.

– А чем здесь-то лучше? – возмутилась Ганна, однако шагнула не назад, а в сторону, чтобы не прямо против калитки стоять, а все-таки у стены.

– Здесь, девушка, лучше тем, что хозяйка здесь я. И кроме меня нет здесь для тебя никакой опасности. А я тебя не съем. Пока что. Я сперва погляжу, не расхочется ли у тебя самой слово с делом. С мертвыми коровами ты не сладила, это я уже знаю. Посмотрим, как упрaviшься с живой свиньей!

Да и распахнула настежь хлипкую дверь – а оттуда выперло огромное, мощное, в густой жесткой щетине... и оказалось круглым тугим боком кого-то еще большего, скрытого в темной утробе хлева.

– Это ж не свинья, – прошептала Ганна. – Это ж... и не медведь. Ой, мамочки, что же это будет?

– Как же не свинья? – рассердилась старуха. – Ну-ка, смотри сюда! – и обошла хлев справа. Ганна послушно пошла за ней. А там хлипкая стенка была обрушена, и на волю выпирали прочие части невероятного существа: острые раздвоенные копыта, гигантское сморщенное рыло, мохнатые уши-лопухи, из-под которых раздраженно глядели маленькие красные глазки. Лежа, чудовище громоздилось выше Ганниного носа, подпирало крышу хлевушка, а хрюкало так, как будто огромный пес взрыкивал.

– Свинья, бабусенько, – пролепетала бледная Ганна.

– Свинья, девушка, я не обманываю.

– А что же мне с нею делать? – чуть не плача, спросила Ганна.

– Да ничего особенного. Поросятки сегодня народятся – так ты их сразу бери и отгаскивай вон в тот загончик, чтобы не позадавила мамка сдуру. Ну и там будешь за ними присматривать, чтобы не дрались, и к мамкиным титькам прикладывать по очереди. А как вырастут, так и служба твоя кончится, и я с тобой честь по чести расплачусь. Если справишься. Поняла?

– Поняла.

– А у меня дел много и по дому, и вокруг. Я не услежу за поросятами. Да и не по силам мне, старой, тягать крепышей. Потому мне твоя служба и нужна. Поняла?

– Поняла, бабусенько.

– Ну, а раз поняла, так приступай. Сумку в дом занеси – и сюда скорее. Хавроньюшке одной тоскливо, молодая она, рожает впервой. Ты и посиди с ней, поговори о чем. Чтобы не скучала, не боялась, поняла? Эх, надо было бы хоть молодуху какую, а лучше рожалую бабу, а не девку – незнайку да неумейку. Ну некогда уже искать, тобой обойтись придется. Аксинья-то из Яселков хорошо поросенок принимала, да не сдюжила против коровьей смерти вот... А я замешкалась, прозевала. Эх, что теперь... Давай быстро в дом, да обратно – чтоб Хавронья не соскучилась.

Дом был кривой лачужкой, но стоял на двух крепких стволах, вцепившихся в землю мощными, широко растопыренными корнями – ни дать ни взять птичьи лапы. Вход занавешен темным войлоком, как кочевая кибитка – будто и впрямь дому привычно с места на место брести. Лесенка к порогу приставлена – две жерди с перекладинами, смотреть-то боязно, не то что лезть по ним.

– Бабусенько, – обернулась Ганна уже с хлипкой лесенки. – А как же мне теперь... к поросяткам?

– Не бойся, – успокоила старуха. – Сюда только мертвые приходят. Мы здесь мертвые все. И коровья смерть умерла тоже.

– И я? – удивилась Ганна, ощупывая грудь и живот.

– А то! Еще как!

– А как же теперь?..

– А хоть как, не твоего ума дело. Много знать – мало радоваться. Живо за дело, болтаешь тут, а роженица одна мается, – проворчала старуха и почесала свинье над сморщенным рылом. – Ты ж моя красавица, ласточка моя, перепелочка звонкая!

Ганна, не глядя, закинула сумку в дом и кинулась к Хавронье – чесать раздутое брюхо и нашептывать ласковые и ободряющие слова в мягкие лопухи ушей.

Первый поросенок вывалился весь в белой пленке. Ганна в сомнении огляделась – старухи нигде не было видно, и на зов она не откликнулась. Сама Хавронья точно не могла бы дотянуться до новорожденного. Ганна вздохнула и принялась очищать его от пленки руками.

Пока она возилась с первым, второй чуть ли не сам выскочил из материнского чрева, и Хавронья беспокойно заворочалась. Ганна не долго думая ухватила первенца поперек брюха – и застонала. Поднять малыша оказалось не так-то легко. Ругая на чем свет стоит старуху, Хавронью, братцев-поросят, рыжего парня с хутора Яселки, коровью смерть и свою судьбину, Ганна кое-как оттащила свинское дитя в загончик – и бегом кинулась за вторым. Да уж и пришлось за ним побегать! С визгом носился он по двору, толкался в калитку, пытался подрить частокोल. Плюнув на всё, Ганна ухватила его за задние ноги и отволокла к старшему брату.

А вот третий не торопился. Ганна уже в беспокойстве прохаживалась вдоль Хиври, поглаживала ее живот, почесывала, подбадривала и поторапливала. Наконец вся туша гигантской свиньи содрогнулась – и наружу выпал рыжеватый мокрый комок, намного более мохнатый, чем старшие братцы. Не дожидаясь, пока новорожденный вскочит и побежит копать под частоколом, Ганна сноровисто ухватила его за задние ножки. Новорожденный тут же извернулся и впился острыми зубками в Ганнину руку чуть выше локтя. Сделал пару движений челюстями – вроде как принаравливаясь отжевать кусок мяса – и выпустил руку. Хватать его на руки Ганна тем более побоялась.

– Ну, геть! – замахала она руками, направляя малыша к загончику. – Туда! Кыш!

Выручили ее старшие поросята, зашедшиеся визгливым хрюканьем. Рыжее существо бойко помчалось к ним.

Ганна приоткрыла ему дверцу – и тут же закрыла и подперла бревном.

И обвисла на заборе, почувствовав наконец, что сил больше нет у нее и на самый малый шаг. Надо было поднести кого-то из поросят к мамке, чтобы поел. Но поясницу ломило, спину крутило, ноги подкашивались – и страшно было даже подумать о том, чтобы снова таскать на руках или волоком этих детишек.

Хавронья недовольно подала голос. В красных глазках разгоралась нешуточная ярость. Ох, спохватилась Ганна, представив, на что способна такая мать, если решит, что деток у нее отняли насовсем. И, покорившись своей участи, нагнулась над загончиком, выбирая, кого поближе ловить. Рыжий поросенок сам ткнулся пяточком ей в ладонь и принялся жадно слизывать текущую по руке кровь.

Ганна ахнула, но деваться было некуда. Ухватила дитя другой рукой за мохнатое ухо и отвела к матери.

Проснувшись, Ганна долго соображала, где она и как сюда попала. Пришло в голову, что Хивря и свинятки – сон, а на самом деле лежит она в заброшенной хате бок о бок с коровьей смертью. Однако громовое хрюканье донеслось из-за шаткой стены лачуги, и жалобный нетерпеливый визг послышался в ответ. Охая, поднялась Ганна с лавки, застеленной ее же свиткой. Старуха молча выступила на скупо освещенную лучиной середину жилья, поставила на стол щербатую глиняную кружку, положила ломоть хлеба.

– Ешь, не бойся. Послужила – отпущу честно, с наградой. Только еще на два дня задержу, надо дело до конца довести. Ешь, пей, сил-то понадобится. Все дети растут...

Ганна, дивясь ее речи и не понимая, обеими руками, трясущимися от слабости, ухватила кружку, припала, только сейчас ощутив, какая жажда палит нутро. Молоко было в кружке, да такое крепкое, плотное, какого не пивала в жизни.

– Ой, – сказала Ганна. – Бабусенько, а разве у тебя и корова есть?

– Бывает и корова... Да сейчас-то зачем? У Хавроньюшки молока довольно, а деткам уже и не надо. Мне там молодцы-охотнички мяска принесли, поди накорми и матку, и приплод.

– Как... У Хиври? Так это что ж, молоко – свиное?

– А какого тебе надобно? Чем тебе это не по душе? Молоко на свете одно – материнское, другого не бывает, запомни. И то еще запомни, что здесь я решаю, кого чем угостить, а ты выше своего разума не заглядывай. Напилась? Наелась? – старуха вынула из руки онемевшей Ганны ненадкусенный ломоть и махнула им в сторону войлока. – Разделай туши-то да накорми Хавронью и деток, пока загон не разнесли.

На третье утро поросятки все же разнесли загон и сожрали принесенные неведомыми охотниками дары вместе с рогами и копытами – осталось только изрытая подростками клычками, влажная от впитавшейся крови земля у калитки. Ганна опасно смотрела на дикий пир из-за войлока, старуха же, напротив, кряхтя и довольно потирая руки, спустилась во двор. Хавроньи не было видно нигде.

– Ее заботы кончились, – угадав не произнесенный вопрос, развела руками старуха. – Детки выросли, она теперь сама по себе.

Выросшие детки бродили по двору, всхрюкивая и повизгивая, чесали спины о частокол, едва не заваливая его, и норовили выдавить калитку. Старуха калитку и распахни. Черный и белый – кабанчики – взрыли землю острыми копытами и с ревом метнулись наружу, чуть не посбивав черепа на частоколе. Рыжая, пившая кровь своей няньки, покосилась красными глазками вслед братьям, озадаченно хрюкнула раз и другой, и подкатилась к лесенке. Умильно глядя на обмершую за войлоком Ганну, малышка трех дней от роду, до самого порога хижинки росточком, принялась чесать бока о жерди, вставать на дыбки и нежно похрюкивать.

– Ну вот тебе и награда, – удовлетворенно сказала старуха. – Ты ее кровью поила, а ее мать – тебя молоком. Что бледная такая? Или хочешь весь мир на своих двоих обойти, да не по одному разу? Сбрую какую-никакую сладим вам, что-то и у меня с прежних времен заваялось, что-то на заказ сделают – я тебе скажу, к кому с этим пойти. А только отныне никакой обиды тебе никто не учинит, и пути тебе все, какие есть, открыты настезь. Довольна ли платой моей за свои труды? Ну так благодари бабусеньку, а то ишь, окаменела.

Ганна приоткрыла дрожащие губы и без сил опустила на порог. Рыжая свинья поднялась на задних ногах, оперлась передними на перекладину, дотянулась до мятой измаранной плахты и стала ее жевать.

## Мэри-горюшко

За что мне такое счастье?

Я ведь не уродилась – ни красивой, ни удачливой. Так всегда и говорили: старшие-то красавицы, рукодельницы, певуны, все в мать – а вот младшая не в нас с Кэт уродилась. Отец мой так говорил. Не уродилась, не удалась. Так и жила: вроде как есть я, а вроде как и нет. Матушка, бывало, вздохнет, на меня глядя – но тут же и утешится: хорошо, младшая, другим поперек дороги не встанет. То есть, значит, чтобы замуж их отдать – помехой не буду. Была бы старшей, так меня вперед пристроить надо бы. А как младшая – то и не страшно, как-нибудь уж потом, найдется кто-нибудь. Да не находился никто. Сестры давно при мужьях и своем хозяйстве, люльки качают, а на меня и не смотрит никто. Горюшко ты мое, говорила мать – да недолго горевала... А отец через год новую хозяйку в дом привел, а у нее свои порядки, не угодишь. Я рассеянная. Уж по привычному-то управлюсь как-нибудь, тут и думать не о чем, руки сами. А как по-новому пришлось – одна беда. Не туда поставлю, не так положу, не так войду, не так выйду... Тесно двум юбкам в одном доме, если не родные, против этого не поспоришь. Она добрая, да ведь хочется себя хозяйкой чувствовать. О матери всегда с уважением, отцу поддакивала: Кэтрин то и Кэтрин сё, и хозяйство ладное, и дом теплый, и порядки правильные. А только тесно ей было с прежней хозяйки дочерью в одном доме, что правда – то правда.

Ну и позаботилась обо мне, ничего не скажу, спасибо ей. Все равно ведь не при отце с мачехой жизнь доживать, той жизни еще ого, не век же молодой жене глаза колоть. Вот и сговорилась отдать меня за брата своего двоюродного. По-родственному, чтоб большого приданого не просили. Ей ведь все матушкины шали достались, все юбки синей шерсти, все ска-терти и дорожки. Да не мне ее судить.

Это я к чему? Да вот какая беда со мной приключилась, расскажу. Это мы с отцом моим, родителем, богом даденым, пошли меня замуж отдавать. А жених мой жил на другой земле. Идти через переправу, в один день не уложишься. Вот мачеха и осталась дома, за хозяйством присмотреть. А меня повел отец, как овцу на веревочке... Так я думала, слезы в себе копила. Да не в добрый час мне такое в голову пришло.

На прямую переправу мы опоздали – отцу в сапог камешек попал, вынуть сразу не захотел, мелочь, мол, и ерунда, нечего время тратить. Но пришлось все-таки, а уже захромал. Пришли поздно, смеркалось, закрылась переправа на Гусиный берег, и ждать теперь до полудня завтрашнего. Переправщик и говорит отцу, давайте я вас в Клятую пустошь провожу, туда еще можно успеть. Там заночуете, а до другого ее края всего-то час ходу, и как раз с утраца можно на Гусиный берег переправиться, всё быстрее будет. Раз уж так спешите. Отец-то расстроился, что опоздали, вот переправщик ему и предложил. Отец и согласись. Он не знал ничего, а переправщик не сказал. Решил, видно, проучить, чтобы не шумел на переправе в другой раз. Ну, проучил, не промахнулся. Да не мне его судить.

И пришли мы в Клятую ту пустошь, и велел отец достать припас, чтобы повечерять. А сам сел и смотрит. Как будто камень у него на душе лежит, и не снести ему этого камня, так и хочет его от себя отпихнуть, хоть на кого. Он всегда так, когда в чем сомневается – надо ему убедиться, что все правильно идет. Тогда ему хорошо делается, если кто в чем ошибется. Он тогда сразу воспрянет, задышит глубже, ровнее, глаза засветятся, как у молодого. А пока ничего не случилось – наоборот, понурый весь и ищет, на кого же он сердит. Дело привычное, а только неуютно под таким взглядом, руки ватные делаются, не удержать ничего. Вот я мешочек с солью и уронила, да неудачно так: половина на плед высыпалась.

Отцу и радость:

– Овца ты, Мэри, – говорит. – Как есть овца! Соль-то дорога, а тебе лишь бы что извести.

А сам довольный – прав, значит, оказался, с пользой дело решил, избавить дом от дочери небрежливой.

– Муж-то с тобой намучается, но это не моя уже печаль.

Я потупилась, соль в ладонь смела да подобрала крупинки, сколько смогла. Всё равно ему не возразишь, да и без толку. А соль и правда дорога, зачем отчий дом разорять?

Повечеряли, легли спать. Я всплакнула потихоньку, в платок, но недолго – за день много прошли, и отец извел по дороге замечаниями. Конечно, когда ногу стер, от этого редко кто добреет. Да и тяжело на душе у него было.

Проснулась – еще светать не начинало, а воздух был уже утренний, светлый. Отец спал, я повернулась на другой бок и задремала опять, да не так, чтоб задремала, а только вот понежиться перед дорогой минутку... Но, видно, заснула, потому что проснулась уже на рассвете. Да не то слово – проснулась... Так меня согнуло, так скрючило, что затряслась, забила вся, сама не знаю, как на четвереньки извернулась встать, в глазах темень, в теле ломота. Локти к подмышкам жмутся, колени к животу, и не могу распрямиться, на ноги встать пытаюсь – рушит вниз, запястья подгибаются – и в траву лицом, в зеленую, сладкую... Ой, мама, что же это со мной? Лежу на боку, озираюсь, да тут себя и увидела. Бок косматый... свой. Ощупать себя хочу – а руки... а вместо рук... Я кричу, надрываюсь – а слышу, будто овцу режут, да неумело так... У меня и памяти нет об этом, так только мелькает в глазах, будто на качелях, – то видишь деревья, траву, цветы в траве... то вздернет к ослепительной пустоте... и дух захватывает, и ходит что-то внутри, как будто места себе не найдет. Только помню этот овечий крик как бы издалека и как я поняла, что это я кричу.

А отец и не проснулся.

Ну, накричалась, опомнилась, встала, отряхнулась. Что ж делать, плачь не плачь, а овца теперь Мэри, вот как есть овца. И какой-то нечеловеческий покой на меня опустился. Всё понимаю, но как за туманом каким. Вот была Мэри, вот стала овцой, ну что же – травка зеленая, ветерок душистый веет, хорошо всё. Безопасно, покойно. И стала я травку есть, кроме нее ни о чем и не думаю.

А потом и отец проснулся. Встал, озирается, будто что-то потерял. Кричит. Я было подумала – что за человек такой, не надо ли подальше отбежать. И вдруг как будто чем по голове ударили: батюшка! Я к нему. Мэри я, кричу ему, я Мэри! Ну что там овца накричит... Кто ж поймет? Отгонять принялся, отталкивать – я, как могла, поднялась, руки к нему тяну, обнять хочу, чтобы он меня обнял. Вот он и отталкивал. Ну а что бы еще ему делать, когда чужая взбесившаяся овца на него напала?

Но, видать, слышал он о таких местах – и вспомнил, как перевозчик, с которым он повздорил – с каким лицом он присоветовал в Клятой пустоши заночевать, да и почему пустошь Клятой зовется – сообразил, приставил одно к другому. Сел на землю и заплакал. За шею меня тянет к себе и плачет. В жизни не видела, чтобы отец плакал. А перед овцой не стыдно.

Да и повел он меня дальше, к Гусиному берегу. На что надеялся, о чем думал – не знаю. Я уж точно не думала ни о чем. Бежала за ним на веревочке, да с кустов придорожных листики срывала. Опять мне душу туманом затянуло, а в тумане том покойно и ласково, знай беги да листики срывай, ничего и не надо более, когда и так всё хорошо.

И пришли мы потом на Гусиный берег, в дом жениха моего – овцу-невесту отец мой ему привел. Смеркалось уже, как в деревню вошли. А как последний луч солнца погас – тут меня опять оземь швырнуло, да согнуло дугой. Это теперь мне туда-сюда перекинуться – как в дверь войти-выйти. А тогда, с непривычки, ломало и выворачивало, как будто и в самом деле я с изнанки овца, и надо меня, что твой мешок, вытряхнуть и вывернуть. Потом уж приноровились мы друг к другу: вдох, выдох – и готово дело, здравствуйте, люди добрые, вот она я, Мэри-горюшко, вся как есть овца.

И вот тогда... лежу у порога жениховского дома – видно, кричала, что всё семейство высыпало поглазеть. И сам жених, и свекор со свекровью будущие, и с ними золовки и девчурья... ох и много их!

А я лежу, разметавшись, как меня из корчей выкинуло – на лице пыль, в волосах травинки да сучки, платье измято, перепачкано, подол до колен задрался... Невестушка прибыла!

Никто не подошел, руки не подал, не помог подняться. И отец только руками развел: уж извините, что есть, то и есть, на лучшее не сподобились.

А мне и вставать вроде незачем, тут бы и провалиться сквозь землю, тут бы и кануть в небытие, и сгинуть – от добрых людей, от себя самой. Но не вышло мне такого облегчения, а как отдышалась я после муки моей, как дрожать поменьше стала, так и поднялась сама, отряхнулась, волосы пригладила.

Свекор будущий лицом поелозил, да и говорит – куда ему деваться – ночуйте уж.

Ночуйте. Как бродягам случайным. Из милости.

– Что ж Молли нам девку сосватала с падучей?

– Да нет у нее, – оправдывался отец. – Сроду не было. Вот, видно, со страху... И устала с дороги.

– Дядечка, а говорят, вы овцу привели, а девкой она только у нашего дома перекинулась, – подал голос один из младших, за что тут же получил крепкий подзатыльник от хозяина. Однако сказанное сказано, будущий – или уже не будущий – свекор устался на отца: что на это ответишь?

– Да вот... – замялся отец. – Вот ночевали в Клятой. Отругал ее... за дело... А оно вон как обернулось. Может, пройдет?

– Не пройдет, – отрезал хозяин и оглянулся на жену. Та только веки чуть опустила.

– Не пройдет, и ни к чему нам еще одна овца, своих хватает, а как понадобится – я у Флетчера прикуплю. А чтобы родного сына на овце женить... Нам такой славы не надобно. Еще чего! Ну ты надумал, свояк, ну ты удружить хотел!

– Так не я же, жена моя...

– Молли сговаривалась про здоровую. А ты кого привел?

– Ну так сама виновата, что руки не той стороной вставлены! – в сердцах брякнул отец.

– Может, сама и виновата, – заговорила наконец хозяйка. – Девке молодой сам бог велел перед всеми виноватой быть. Только нам она не нужна, я прямо скажу. Ваша беда – вам с ней и разбираться. А что Молли падчерица в доме не в радость, так теперь придется не то что с падчерицей – с овцой кров делить. И поделом ей. В общем, до утра ты тут гость, свояк, а утром не обессудь... Скажи, хозяин.

– Да, хозяйка, ты права. Не обессудь, свояк, а позора нам от родни не надо. Переночуете – да и возвращайтесь восвояси. Ваше горе – вам и мыкать.

Как ели, что за столом говорили – уже и не помню. А уложили меня все-таки с дочерьми хозяйскими, как человека. Раньше всех отправили спать – с дороги вроде. Всё тело, помню, ломит, а сон не идет. Отец с хозяином на порог вышли, трубки курят, молчат. А хозяйка знай младшего в колыбели укачивает да средним сказку ведет. И старшие тут рядом – делают вид, что другим заняты, а сами уши наострили. И жених мой бывший там, вроде сеть чинит. И не смотрит на меня. Зато я на него смотрю: вот, жизнь, вот какая ты могла быть, да не станешь. А он ничего, и не противный вовсе, и не злой, это же видно. Не красавец из песни, парень как парень, так ведь и я не королева – впору друг другу пришлись бы. Да не придется примериваться, прилаживаться. И другого не будет у меня, и этот не мой.

А хозяйка всё говорит, говорит. Вздохнет и продолжит. И сидит ко мне спиной, а как будто нарочно для меня говорит. Я не слушала сперва. До сказок ли! Но речь ее размеренная, да тихий скрип колыбели, да затаенное дыхание детей – успокоили и меня. Вытерла глаза, заслушалась.

– Вот стало мачехе обидно, что падчерица краше ее. Пошла она за советом к вдове, и та велела на другое же утро прислать к ней девушку, но обязательно не евши.

Утром говорит мачеха падчерице:

– Сходи-ка, милочка, к вдове-птичнице и попроси у нее яиц!

Падчерица вышла из дому через кухню; увидела там горбушку хлеба, взяла ее и съела по дороге.

Пришла к птичнице и попросила у нее яиц, как было велено. А птичница ей и говорит:

– Подними-ка крышку вон с того горшка и загляни в него!

Девушка так и сделала, но ничего с ней не случилось.

– Ну, ступай домой к мачехе, – сказала птичница, – да скажи ей, чтобы покрепче запирала кладовую!

Вот вернулась девушка домой и передала мачехе слова птичницы. Тут мачеха поняла, что девушка перед уходом что-то съела.

На другое утро мачеха стала сама следить за падчерицей и отправила ее из дому натошак. Но девушка пошла через сад, сорвала малины горсточку и съела ее на ходу.

Когда же она пришла к птичнице, та сказала:

– Подними-ка крышку вон с того горшка и загляни в него!

Девушка подняла крышку, но опять ничего с ней не случилось. Тогда птичница очень рассердилась и сказала:

– Передай мачехе, что горшок без огня не закипит!

Девушка вернулась домой и передала эти слова мачехе.

На третий день мачеха сама пошла с девушкой к птичнице. И на этот раз, как только падчерица подняла крышку с горшка, – ее хорошенькая головка слетела с плеч, а вместо нее выросла голова овечки, и сама она покрылась густой кудрявой шерстью, а вместо рук у нее стали овечьи ножки, и заблеяла она. Мачеха отвела ее домой и заперла в хлеву с другими овцами.

А отец девушки на ярмарке был. Вернулся, привез подарки, а дочери нет. Мачеха говорит: пошла твоя дочь на реку купаться и не вернулась. Погоревал отец, а что делать? Мачеха ему и велит:

– Надо справить поминки по дочери твоей. Зарежь белую овечку, что у нас в хлеву стоит, я приготовлю еду, помянем как положено.

Наточил отец нож...

Ой, не про меня эта сказка, не про меня, знаю, что так. А зачем хозяйка ее завела? Зачем не другую? Не про Джека-лентяя, не про Молли Ваппи, что трижды обокрала великана, и выдала своих сестер за принцев, и сама за принца вышла? А про Кэт-овечку, ой...

Не про меня. И мачеха у нас не такая, и отец мой никогда... И не нарочно же она! Не к ведьме злой на погибель отправила, к родичам своим, замуж, вон дом какой хороший, ладный, хозяйка строгая, хозяин важный. И отец не виноват, разве он знал? Не про меня...

Хотела послушать, что там дальше было с Кэт, да вдруг сон такой крепкий на меня навалился, не обороть его. На один миг глаза прикрыла, а открыла уж перед самым светом.

Как и обещали, не говоря худого слова, собрали нам в дорогу еды, попрощались, не дожидаясь, пока отец благодарить за гостеприимство начнет – торопили будто.

А я уже перед домом травку щипала.

Как ни вспомню те деньки – то у меня слезы на глазах, то полон рот травы. Человеком стану – плачу, а в овечку перекинусь – и горя нет, одна зеленая сладкая трава. Но это только первые дни так было. Самые-самые первые. Один и второй.

Повел меня отец обратно на веревочке. Да не прямо с Гусиного берега к нам. Шли мы и шли, дошли до переправы, оттуда перевел нас переправщик в Клятую пустошь снова. А там отец веревочку развязал, слезы утер и пошел себе дальше. А мне что? Я следом за ним трушу, овца овцой. Хоть и тревожно мне, и не понять – отчего. Ножи наточенные мерещатся, кровью пахнет. И как будто я, Мэри, утонула, но не насмерть еще, как будто из последних сил удерживаю воздух в себе и пытаюсь всплыть, а не выходит.

Стал отец мне говорить – а я как будто сквозь толщу воды его слышу. Расслышать хочу, всю душу как кулак сжала. Слышать слышу, да едва понимаю.

А он говорит. Как же, говорит, ты у нас жить будешь? Не в дом же тебя! Не в хлев же! А сёстрам какой позор, хоть и замужние. А у Молли скоро ребеночек народится – а как девка, то кто ж ее от такой сестры возьмет? А как парень – кто ж пойдет за него? Не в хлеву же тебя держать, родненькая...

Тоскливо мне стало, как будто правда резать ведут. Я к нему. А он обнял за шею: глупая ты девка. Здесь оставайся, здесь путники редко бывают, держись только от них подальше – и не обидит никто. Здесь тебе самая жизнь, смотри, какие луга, не то что в хлеву. Здесь и живи! Отстань, отстань!

Это уж он от меня пятиться стал, да руками взмахивает: прочь, мол, поди. А я за ним. А он от меня. Кыш, кыш! И руками машет. А потом палку подобрал – и палкой кинул, несильно так, напугать только.

А я за ним. Батюшка, я же Мэри, я Мэри твоя!

А он камень поднял – пошла, пошла прочь, нелюдь! Кыш!

И пустился бежать. Я за ним. А он камнями швырять в меня.

И тут помрачение со мной сделалось. Испугалась я отца родного, камнем мне по голове угодил – больно! И прочь бежать кинулась, овца...

А как опомнилась – вернулась на дорогу и за ним. Да только его и след простыл. Бежала-бежала – и забыла, зачем бегу. Трава у дороги под ветром колышется, солнце светит, ветерок теплый веет. Есть и слаще в жизни дело, чем по пыльной дороге бегать.

Так и осталась я одна на Клятой пустоши травку щипать.

Вечером вышла к ручью – издалека свежестью водяной тянуло. Там меня и накрыло снова, как стемнело. А у меня ни гребня – волосы расчесать, ни щетки – одежду в порядок привести, только что умыться прохладной чистой водой... А если кому довелось тогда ниже по ручью воды испить – удивился, поди, отчего вода солона.

Вот и пожелала я себе.

Не то что провалиться сквозь землю – куда там? А вот чтобы унесло меня отсюда на край света, на самый-самый что ни на есть крайний край. Чтобы мне и сгинуть там насовсем.

И только руками по щекам, по векам – сколько ни смывай, а солью жгло – провела, открываю глаза... и вот он. Самый край. Такой крайний, что и света там уже нет. Скользким обрывом из-под ног – в пустоту. Я даже охнуть побоялась – только рот сам собой открывался, как у рыбы, из сети вытащенной да в лодке на дно брошенной. Ни голоса, ни разума не осталось вмиг. Поняла, не почувствовала даже, а каждым суставчиком поняла, как будто они понятливые стали или как будто им понятное для них показали: умираю. Всё здесь мертвое. Это край. И мне, живой, нечего здесь делать, а хочу остаться – придется умереть, даже и не придется, а просто иначе быть не может, здесь и времени-то нет, чтобы в нем жить.

И небо черное, но не как у нас бывает в ненастную ночь, а пустое. Нет облаков, туч, завихрений небесных, нет ветряных могучих крыльев, не проглянет светило хоть малое. Нечему двигаться, нечему светить.

Только три звездочки над самым краем висели, как будто этому тоненькому ломтику земли положен подходящий ломтик неба над ним. Вот я в них и вцепилась взглядом, за них и держалась, а сколько времени прошло – не знаю сама, только когда склон чуть дрогнул, я пальцы в глину вдавила, скрючила – а когда сесть и руками упереться успела, сама не знаю. От страха и кружения в голове, видно, согнуло меня до самой земли.

А темнота как будто схлынула, отодвинулась, как вода отступает в сушь, и из нее появился человек – правда, человек! Голова, руки, ноги, плед в темную клетку, лицо удивленное...

Встал надо мной и смотрит, а я вся трясусь, задыхаюсь, боюсь оторвать руки от глины, но к нему тянет так... Вот этот ломтик земли – зыбкий, ненадежный, мертвый он, как будто и нет его вовсе. А человек этот... И сейчас он у меня перед глазами, как тогда: волосы встрепаны, плед с плеча свалился, ноги расставлены широко, крепко... и сам такой крепкий, крепче этой земли небывучей. И живой. Светится жизнью и крепкой силой. Светло вокруг него. И я – к нему. А он говорит – как с испуганной овцой, в самом деле, голосом тихим, ровным. Заговаривает. Да ты кто, говорит, а я вот, вот он я кто такой, – а сам стоит, как в лодчонке утлой, ловко и крепко, но ловит, ловит эту землю, как будто она из-под ног уйти, перевернуться, сгинуть может в миг любой. И – шаг ко мне, и на руки подхватил. Зажмурься, говорит. И ветром холодным обдало, охватило. А у него руки крепкие, грудь горячая, и сердце в ней стучит сильно и ровно. Дрожу у него на руках, уж и ветер стих, и тепло, как от летнего солнца – а отцепиться не могу. И тут меня опять наизнанку вывернуло – прямо у него в руках. А он удержал.

## Мать Ууйхо

Опьяняюще ярким стоял мир перед Видалем. Каждое утро было новеньким, прохладным, усыпанным сверкающей росой. Выходили на рассвете, плотно позавтракав и прихватив по большому ломтю черного душистого хлеба. В новой куртке, в новых высоких сапогах Хосе поначалу чувствовал себя слишком нарядным для того, чтобы бродить по колена в траве или переходить вброд ручьи. Но от мастера отставать не след – вот и шел сквозь чудеса. Лоскутные завесы листвы, столбы золотистого света, прохладные заросли, солнечные поляны, свет и тень мелькали, кружа голову; из-под ног взмывали слюдяные стрекозы, вспархивали бархатные бабочки, с гуденьем взлетали тяжелые жуки. Маленькие существа тут и там сновали между поваленными стволами и пучками высокой травы, торопились по своим делам, жили свою короткую жизнь. Из пронизанных солнцем крон деревьев лился птичий звон.

Куртку и сапоги из самой Суматохи принесли – ходили с мастером Хейно на ярмарку. В Суматохе – мельтешение людей, музыка и голоса зазывал, запахи жареного мяса и свежего хлеба, шарманки и карусели. И людей столько, сколько Хосе за всю жизнь не видел. Отец брал его с собой на ярмарку в Марке, там людей собиралось раз в сто больше, чем в Лос-Локос, а в Суматохе – и того больше. И все в одном месте толкуются, спорят и ругаются, а то пляшут и поют. И карусели. Не то чтобы Хосе каруселей не видел. Катали детвору и в Марке: лавки из досок, пропахших рыбой, да слепой коняга с рудника.

Не то в Суматохе! Под ярким балдахином с золотыми кистями по кругу шествовали невиданные твари – то голубые, с длинным складчатым носом, воздетым вверх, с роскошными башенками на спине и торчащими вперед длинными клыками; то желтые, мохнатые, как гуанако, с тем же презрительным прищуром и свешенной губой, но с двумя высокими горбами на спине и с нарядной попоной между горбов; то диковинные кони белые, с круто изогнутыми шеями, тонкими ногами и хвостами до земли; то вроде коней тоже, но с козьей шеей и крученым рогом, Хосе нарочно присмотрелся – один рог посреди лба; с рогами были еще другие – тоже вроде коз, но большие, и между ушами как будто целые кусты торчат, без листьев, без всего. И все это катилось и катилось, кружились обвитые лентами столбы, хлопали на ветру складки балдахина, поскрипывали внутри карусели тайные колеса, а вокруг гремела музыка.

Мастер Хейно кивнул головой – давай, мол, мальчик. Но в Марке отец не пускал Хосе на карусель, денег хватало на соль, сахар, муку, спички и прочее, что в хозяйстве необходимо, на баловство не оставалось. А мастер и вовсе чужой – его деньги на баловство тратить неудобно. Да и слишком взрослый был уже Хосе для детских забав. Только маленькие дети да порой влюбленные пары отправлялись кружиться под выцветшим небом пустыни. Влюбленные что дети, им можно. И Хосе одарил мастера хмурым взглядом – за что маленьким дразнит? А уж сколько стоить могло катание на роскошной карусели со слонами и оленями...

На ярмарке провели полдня, никуда не торопился мастер Хейно, придирчиво выбирал обновки ученику, всю одежду новую и обувь справили, и ели жареное мясо со свежим хлебом, запивая золотым ледяным пивом. И припасов домой набрали – той же соли, и сахара, и спичек. Так что успел Хосе разглядеть своих ровесников – не стесняясь, садились верхом на чудных зверей, и на качелях, к облакам взлетающих, качались, и бросали в кольцо мячи, добывая пёстрые призы... И мастер, хоть деньги тратил внимательно, скупиться нужды не имел. Но раз отказавшись, неудобно было проситься – Хосе решил, что успеет еще, видно, мастер часто ходит в Суматоху, много припасов не набирает, только чтобы без труда донести. Впрочем, после пары глотков он почти насмелился попросить... Но тут пришли друзья мастера, чудные не меньше, чем те карусельные звери. Кто в меховой одежде с бубенчиками, кто с косой до

пояса, кто в короткой, едва до колен, клетчатой юбке. И одна девушка была среди них, красивая, с ямочками на щеках, с быстрыми карими глазами, с красными цветами в косах, обвитых вокруг головы. Все разглядывали Хосе и подмигивали ему, а девушка бранила мастера Хейно, что пивом поит ребенка. Хосе с ней спорить при мастере постеснялся, а сам мастер только рукой шевельнул – не о чем говорить, мол. Хосе так же и подумал: не о чем говорить, да и нечего обращать внимание на девушку, которая с мужчинами крутится без стыда и пиво с ними пьет... Но карусели на сегодня точно отменялись.

Устал Хосе в Суматохе так, что дома едва доел ужин, над тарелкой засыпал. И снились ему карусели, как маленькому, и девушка с ямочками на щеках. А утром снова – лес, поляны, ручьи, камни, жуки, гусеницы, птичий гомон.

Острота ежедневной радости не давала забыть, напротив – напоминала как будто о том, что далеко-далеко, за темной бесконечностью – в десять мальчишеских шагов шириной – серые, податливые, как пауэчи брюшки, раздуваются жадные до жизни ууйхо. И пьют саму жизнь, взамен оставляя кормильцам пыльный покой безвременья и до костей пропитывая ядом. Зато какая музыка будет из этих костей!

Вот первая ненависть, которая поразила Видаля, острее и сильнее он ненависти не испытывал никогда, поэтому и считал эту ненависть у себя – единственной.

А тогда, в свои тринадцать, он и не думал исчислять в себе ненависть или любовь. Всё просто было, очень просто. Слишком... Или пусть Мать Ууйхо исчезнет из мира, или Видаля на такой мир не согласен. Условие это он только себе и ставил – без слов и объяснений, просто чувством таким, что не должно больше быть Матери Ууйхо, совсем быть не должно. Как никогда и не было. Тогда Видаля сможет жить дальше, а пока – вся его жизнь стояла, как колесо, между спицами которого застряла палка.

Палку надо было вынуть.

План у Видаля был самый простой: прийти в пустыню в ту ночь, когда явится Мать Ууйхо, и сделать так, чтобы ее не было. Как болотце убрал – так и Мать Ууйхо убрать хотел. А в чем разница-то? Болотце маленькое, Мать Ууйхо большая. Потрудиться придется подольше – и всего-то.

– Тут болото завелось. Попробуй его убрать, – сказал однажды мастер Хейно.

Хосе, отведя от лица волосы, всмотрелся: не полянка лежала перед ним, окруженная березами и ольхой. Затянутая ряской, недвижно стыла темная вода, пучки высокой травы теснились на редких кочках. Вокруг из зелени выступала яркая желтизна болотных ирисов; между ними, словно остовы неведомых зверей, торчали выбеленные сучья павших жертвой болота деревьев. Это вот – болото? Хосе шагнул ближе – мягкая, ненадежная почва выпустила темную влагу на новые сапоги.

– Осторожней, – предостерег мастер Хейно. – Опасное место: провалишься в жижу – и засосет.

Хосе оглянулся с недоумением. Всё здесь, каждая веточка, каждый листочек, каждый малый жучишка – мастера произволом и соизволением росло и дышало. Откуда бы взяться болоту, если не мастер его высмотрел?

– Зачем?

– Лучше один раз увидеть. И убрать.

Хосе нечего было возразить. Пришлось приниматься за работу.

Он уже умел залатать поврежденный ствол дерева, взглядом выхватывая подходящие куски здоровой крепкой коры вокруг. Под здоровой корой должна быть здоровая древесина – и она станет такой, как только с корой будет все в порядке. Создавай видимость, повторял мастер Хейно. Сущность сама подтянется. Смотри, говорил мастер, когда гончар лепит кув-

шин, он создает вид этого кувшина. Его внешность, его форму. И кувшин не может быть ничем другим, если он выглядит как кувшин. Создай видимость здорового дерева – чтобы удержать эту форму, дереву придется быть здоровым.

И сейчас Хосе проговаривал вслух, как учил мастер, чтобы сохранять сосредоточение:

– Я возьму траву, ту, что в трех шагах от края воды и дальше. Я увижу траву крепкую, высокую – такая не станет расти на болоте... Нет коричневой, красноватой воды... Есть трава, густая и зеленая, и под ней корешки сплетаются в земле, и ползают черви и личинки жуков...

– Нет. Не думай об этом. Ты не можешь видеть этого, если не разроешь землю. Смотри поверх. Создай видимость.

– Эта трава крепка и высока, – послушно начал заново Хосе. – Мелкие белые цветы с кружевными листьями растут в траве. Желтая бабочка качается на стебле, сложив крылышки. Ветер колышет траву. Трава зелена и густа.

– Да, – сказал мастер Хейно, и Хосе не смог бы ответить, через сколько времени мастер это сказал. – Да, мальчик.

И прошел вперед, раздвигая носками сапог крепкую высокую траву, притоптывая в сомнительных местах. Остановился на самой середине поляны.

– Вот здесь, – шевельнул рукой влево, – ольху насади. Или березу. Две.

И ушел домой, готовить ужин.

А Хосе остался. От нахлынувшего понимания пробрала дрожь. Мать Ууйхо можно убрать вот так же просто, как это болото – и ее не станет насовсем. По-настоящему исчезнет она, если затянуть ее место в небе звездами и тьмой.

Ему пришлось отдышаться, прежде чем начать высматривать в вечернем воздухе тонкие серебристые стволы. О Матери Ууйхо он больше не думал – так только, чуть-чуть, на самом донышке, колыхалась мрачная радость.

Что в ночь Матери он попасть сможет, не высчитывая разницы между Семиозёрьем и Сьеррой, Хосе себя старательно уверил: если так просто попасть в «куда», то и в «когда» попасть ненамного сложнее. Во что веришь, то можно и попробовать сделать. А во что не веришь – на то и не замахнешься. Неверие связывает руки, так мастер Хейно говорил. Видалю ему верил, чтобы работа получалась.

Что веревку, сплетенную Мьяфте, ему не отвязать от себя никак, он уже проверял. Сразу понимал, что никак не отвязать то, чего не только не видишь, а и нащупать не можешь. Но проверить не поленился. Но на самом деле важно было только одно: чтобы мастер не хватился ученика раньше времени. А для этого надо было дожидаться, чтобы Хейно Куусела ушел в другие места – по делам или к друзьям в гости. Он так уйдет бывало в сумерки – и по утренней росе вынырнет из тумана, чтобы не оставлять растущее Семиозёрье без догляда, без присмотра, без отцовских наставлений. А Видалю рано проснется и сядет на крыльце деревянном его поджидать, не потому что один оставаться боялся, а чтобы обрадоваться скорее. А вот если сразу за ним уйти и чуть раньше вернуться – он и не заметит ничего. Всего и делов.

Так что всё у Видаля было готово к делу, всё продумано и рассчитано. Взять с собой хлеба краюху (а родник чистый всегда при нем), ненавистью проложить путь к Матери Ууйхо – в то самое место и в ту самую ночь. Проще пареной репы.

И вышло – просто. Через несколько дней вечером, едва стемнело, мастер Хейно ушел налегке, только грибов лукошко прихватил – гостинец для далекого друга, взявшегося из ледяного царства высмотреть земляничные поляны да сосновые леса. Хосе вышел на крыльцо, вроде проводить, а на самом деле – убедиться, что точно мастер ушел. Хейно Куусела обернулся, кивнул, да и ступил через поваленный ствол, обозначавший дверь в Суматоху.

Хосе постоял короткую минутку – мало ли, забыл чего мастер, вернется. Но мастер не вернулся, и Хосе скакнул в дом и обратно – только дважды стукнула дверь – и с котомкой под мышкой прыгнул с крыльца во влажную траву, а там замер... и понял, как же истосковался по звонкой, солоноватой суши Десьерто. Тьма-пустота густой черной жижей проступила сквозь видимость ночного леса. Хосе задержал дыхание и перебежал на ту сторону – не зная, где та сторона, но помня, что там на темное небо в сверкающих звездах наползает раздутая туша Матери Ууйхо, бледные молнии пляшут вокруг тугих огромных боков. И после влажного, нежного воздуха Семиозёрья горло перехватило от пустынного ветра, несущего тонкую солоноватую пыль над каменными полями. Ветер дул прямо в лицо, и Хосе не пришлось оборачиваться и искать глазами – перед ним, вывалившись из-за мертвенно-бледных вершин Сьерры, ползла в небо сизая туча в ореоле грозových разрядов. Здравствуй, Мать, прошептал Хосе враз пересохшими губами. Затем и пришел сюда, чтобы встретиться с ней – и она оказалась совершенно такая, как описывали видевшие ее. Хосе это поразило больше всего – что он увидел ее такой, какой представлял по рассказам. До складочки, до самого мелкого вздутия, до сетки молний – всё оказалось таким, каким увидел внутри своей головы. Он пришел – и она шла ему навстречу, не отклоняясь. Ее становилось всё больше, неба – всё меньше. И горы затягивало серой завесой – с тихим треском и шорохом из раздутого брюха сыпались зерна ууйхо.

Хосе выпустил из рук котомку, переступил, покрепче устраиваясь на каменной россыпи. Окинул взглядом еще свободное небо над головой, собрал его всё в памяти и держал так наготове, а когда Мать Ууйхо подошла вплотную и закрыла всё – звезду за звездой стал развешивать обратно, все на свои места. Увидеть это мрачное, сверкающее небо неоскверненным. Увидеть его без раздутой утробы Матери Ууйхо, без серой дымки, струящейся из нее. Просто увидеть это небо чистым. И чтобы звезды сверкали.

Лиловые молнии густо потекли по утробе, собираясь в огромный клубок. Мать Ууйхо стояла уже над головой, полупрозрачная, но огромная, и острые зерна лупили по щекам, по плечам, а молнии трещали и клубились совсем рядом. Хосе не удержался – выпустил из глаз звезды, увидел молнии – и в тот же миг одна из них сорвалась и ринулась к нему. Мир остановился. Лиловое жало летело к Видалю, а вокруг тускнели, тонули в сизой тьме едва проклюнувшиеся звезды. Их свет таял – молния разгоралась, медленная и неотвратимая. Наконец она стала такой яркой, что Видалю не вынес, зажмурился – и полетел ей навстречу.

Лицом о камни – неожиданно больно. Это была не та боль распада и уничтожения, которой ожидал Хосе, а простая и грубая боль от удара лицом об острые камни. Во рту стало солоно, в носу хлопало. Навалившаяся тяжесть прижимала всё тело к камням, а потом вдруг рывком подхватила и поволокла – и голос Хейно Кууселы хрипло выкрикивал слова, которых Хосе не понимал. Вокруг стоял грохот разрядов и оглушительный треск лопающихся камней.

– Ногами! – первое, что понял Хосе, – ногами, беги! – кричал мастер Хейно. И Хосе подобрал волочившиеся ноги и побежал, цепляясь за руку мастера, а молнии бились вокруг в безумной пляске и ливнем сыпались колючие зерна, кромсая одежду, полосуюя лицо и руки.

Они укрылись в нагромождении камней.

– Никогда, – прошипел Куусела, – никогда не вставай против того, что больше тебя самого! Сильно больше! Вот так больше! Закрывает небо!

А потом опять говорил непонятные слова – ругался на своем языке. Но Хосе он обнял, прижал к себе – и так сидели, скорчившись между обломками, дрожа от холода. Когда Мать Ууйхо, сыто урча и переваливаясь, скрылась за горами, мастер разбудил Хосе и они выбрались наружу. Там их ждали. Серые сутулые фигуры покачивались в утренних сумерках, почти растворяясь в них, и Хосе показалось, что это так разбухли и выросли за ночь высеявшиеся из

материнской утробы ууixo. Но это оказались люди, у них были серые плоские лица и вялые пустые руки. При виде Хосе и мастера Хейно они принялись наклоняться, брать в руки камни и бросать, наклоняться, брать в руки камни и бросать, наклоняться, брать... Они не произносили ни слова, не сговаривались между собой. Но камни летели слаженно и метко, раз за разом, волна за волной. И мастер Хейно схватил Хосе в охапку и втиснул между камней, а сам замешкался и остался снаружи.

Стук камней давно прекратился. Мастер лежал неподвижно и не говорил ничего. Хосе сидел, не шевелясь, под обломками скалы, пока они не стали накаляться от солнца. Тогда он с трудом отодвинул тяжелое тело мастера и выполз из укрытия. Солнце стояло высоко. Кровь темной коркой запеклась на камнях и на разбитой голове Хейно Кууселы.

Хосе обмыл ему лицо своими волосами, но мастер не открыл глаз и не шевелился. Тогда Хосе встал с колен, как мог, обхватил тело и сказал:

– Мы идем домой.

И шагнул во тьму.

## Черная птица

Мьяфте снова явилась темной тенью из небытия, в котором он тонул. Наклонилась над ним, позвала. Он ее не слышал, но глаза открыл. Увидел ком тьмы, ворох темных платков, яркие глаза.

– Эй, эй, куда же ты? – спросила Мьяфте, а он опять ни звука не услышал, но понял, что она говорит, только не понял, что за смысл в ее словах. Он – никуда. Он лежал на полу в доме мастера Хейно, а мастер лежал рядом, как Хосе уронил его, падая сам. Мьяфте показала вниз между ними. Там по невидимой веревочке тонкой и тугой струей текло синеватое сияние. Один конец веревочки слабо светился вокруг запястья мастера, другой, как жадный корешок, пульсировал на скрюченной старческой руке. Хосе пошарил взглядом вокруг, но не увидел никого кроме мертвого мастера и Мьяфте, стоявшей над ним. Он захотел дотронуться до веревочки – и чужая старческая рука шевельнулась как бы в ответ на его желание. Он захотел взглянуть на свою руку и поднес ее к глазам – но это была всё та же бледная рука с искривленными пальцами, расслоившимися ногтями, сморщенной пятнистой кожей. Уродливые пальцы шевельнулись прямо перед его лицом.

Мьяфте закрыла ему рот ладонью и отвела чужую страшную руку в сторону.

– Тише, тише, дитя, все зверье распугаешь.

Хосе с облегчением вынул ей в ладонь и плакал, а она села возле него на пол и гладила редкие седые волосы, намокшие в разлившейся вокруг его головы луже.

– Не бойся, мальчик, уже нечего бояться. Что случилось, то случилось, и я уже здесь. Слушай меня, слушай, душу мне всю доверь, раскрой без остатка, мое дело, моя работа сейчас, а ты только слушай и слушайся меня, нечего бояться, я твое рождение и смерть твоя, я твоя любовь, твоя жизнь – и ты в моих руках, дитя, не бойся, твой срок еще не настал, да и тогда не бойся, дитя. Я мать твоя – роднее родной, через нее ты родился, но от меня, и я знаю твой срок, и еще далеко до него. Пуповиной смерти стала веревочка, в мертвого утекла твоя жизнь – но радуйся, что много тебе отпущено, всё не всё, но вернем обратно, сколько сможем, ты дыши только, слушай меня и ничего не бойся. Я петь стану, а ты слушай, я шить стану, а ты смотри, потом забудешь, а пока можешь смотреть, дитя, худшей беды от этого не будет.

И пела, и медленно, трудно пробиваясь, тёк по веревочке обратно белый свет. Мьяфте осторожно распустила узел на руке мастера, подняла выше тот конец, дала стечь сиянию всему, до последней капельки к запястью Хосе, и только потом отвязала веревочку. Смотала в клубочек, сунула в кошель.

И шила, медным ножиком отхватывала от платков лоскуты, вертела их так и сяк, прикладывала, костяной иглой и жильной нитью сшивала их – выходила неуклюжая птица, черным-черна. Раздвинув на груди платки, вытянула темное ожерелье. Хосе зажмурился от него.

– Всё-всё, дитя, я только два камушка возьму, птице – твоей душе глаза пришью. Смотри на нее, а она будет на тебя смотреть, и вперед будет тебе смотреть, чтобы видел ты, куда идешь и придешь куда. Эта птица – твоя смерть, как я, твоя жизнь, как я. А еще она – жизнь Хейно Кууселы, которую он должен был прожить, да не успел. На тебе теперь его долги, тебе теперь его везение и неудачи, страсть его растить мир и освободить из небытия – тебе. Любовь его тебе тоже достанется, но не впрок это ни тебе, ни ей, да тут уж ни вы не властны, ни я сама. Ничего. Как-нибудь проживешь и за себя, и за него. Вот видишь, сколько твоей жизни обратно к тебе вернулось? Вставай же, дитя, вставай. Пора хоронить мертвых, пора жить.

Он встал и принялся помогать ей, неловко управляясь с непривычно большим, сильным телом. Черная тряпичная птица прыгала вокруг него по полу, приволакивая крыло, пыталась вспрыгнуть на стол и сердито каркала. Видаль посадил ее на плечо и время от времени погла-

живал, чтобы успокоить. Мастера обмыли, обернули тело тонким холстом и уложили на столе. Мьяфте повела Видаля на холм за ручьем. Здесь, сказала, хотел он остаться, пусть здесь спит.

Вырытую яму на ночь накрыл Видаля еловым лапником, как велела Мьяфте, и вернулся в дом. Мьяфте уже развела стиральню.

– Друзьям его извинить меня придется. Не позову прощаться: встречаться со мной им незачем, а я хочу с Хейно до утра посидеть. Нравилось мне смотреть, как он живет – побуду и с мертвым. Ты можешь остаться, а им потом передашь, чтоб не корили меня, еще придет им время со мной спознаться.

– Разве мертвые не к тебе идут? – спросил Видаля.

– Кто знает, в чем больше человека, в душе его, улетающей прочь, или в теле, остающемся лежать сморщенным яблочком печеным? Я так думаю, что пополам. То, что отсюда ушло, то навек со мной. То, что здесь остается... Вот с ним хочу побыть, пока можно. До света. Тогда зови его друзей, похороните и помянете. Я приготовлю всё. Нравился он мне. Вот, – сунула Видаля пустое ведро, – что стоишь? Воды принеси.

Утром Мьяфте ушла, как обещала. Поцеловала мастера в холодный лоб, согбенной вдовой просеменила к двери.

Видаля посидел еще, глядя и не видя, как птица скачет по столу и теребит саван.

– Эй, кыш! – птица подпрыгнула, громко хлопая крыльями, перелетела ему на плечо, стала перебирать волосы, больно ущипывая за ухо. – Ну тебя... пора нам. Эх, птиченька, зачем я на свет-то родился? Одно горе от меня, а? Что матери родной, что отцу, что вот... А? Что молчишь, лоскутница?

Птица мурлыкнула, нахохлилась, припав к плечу. Вдруг закинула голову и защелкала длинным клювом по-аистиному – Видаля дернулся, чуть с лавки не свалился с перепугу. Птица вспрыгнула ему на голову и громко, на весь дом, пронзительно заорала.

– И это вот ты – моя душа? – спросил у нее Видаля, но птица не ответила. Нелепо растопырив крылья, порхнула к двери, ударилась, упала на пол.

– Ну, пошли тогда, – сказал Видаля, поднимаясь. Снял с крючка старую рваную куртку, которую мастер надевал в самые грязные дождливые дни. От той, что носил обычно, остались окровавленные ошметки. Вместе с Мьяфте отрывали их от изорванного камнями тела. Видаля потрянул головой, зажмурился, отгоняя воспоминание. Вот так теперь есть и будет всегда, и никогда не изменится это. Можно забыть, можно отстраниться. Но на самом деле всегда теперь будет так: мертвый мастер, камнями вколоченные в его тело обрывки замши, едва слышные, монотонные причитания Мьяфте – не рыдания для облегчения собственной боли, а необходимая работа: обмыть остывающее тело руками и водой, обмыть уходящую душу голосом и словом. Того, что случилось, не отменить.

Видаля рывком распахнул дверь и шагнул наружу. Постоял с зажмуренными глазами и осторожно сел на ступеньку, медленно выпустил воздух сквозь сжатые зубы. Пока Мьяфте была здесь, он невольно сутулился, чтобы рядом с ней оставаться, ближе к ее взгляду и глухому голосу. А теперь – исполнился решимости, выпрямился во весь рост. Вот и отметился лбом о притолоку. Птица пробежала по рукаву вверх, вскочила ему на голову и заурчала озабоченно.

– Всё-всё, идем, – сказал Видаля и поморщился: вороньи когти изрядно оцарапали кожу под волосами.

Одну дорогу к мастерам знал Видаля: через поваленную березу напрямиком в Суматоху. Туда и пошел.

– Хейно-то совсем отбился от компании... – Мак-Грегор заглянул в глиняную кружку, примериваясь, звать ли уже подавальщика, или сначала допить остаток.

– Да он всегда был домоседом, – с набитым ртом возразил Кукунтай.

– Он-то? Да где его только не носит! – хмыкнул Хо.

– Он основательный. Каждый листочек выглядывает. Может с каким-нибудь кустиком неделю провозиться, – заступился Гончар. – Вот и сидит дома, всё возится, возится.

– Да брось, у него там уже всё готово, скоро в гости позовет, рождение места отмечать, – возразил Мак-Грегор.

– А мне этот мальчик не нравится, – сказала вдруг Ганна. – Неприятный. Много об себе воображает.

– Да ладно, что он тебе?

– А что Хейно из-за него чуть не погиб – этого что ли мало?

– Как это – чуть не погиб? – всполошился Кукунтай.

– Да вот когда его из дому уводил.

– А, это... ну, дело такое. Бывает. В пути мало ли чего случиться может! Мальчик ни при чем.

– Как ни при чем? Если б не он, Хейно бы с караваном пошел, не стал бы рисковать. Вот уж нашел ученичка, как будто ближе не мог.

Хо неодобрительно покачал головой.

– Мастеру виднее, где и когда. И кого в ученики брать. Это всё не просто так случается. Кто кому мастером приходится, кто кому учеником – не в этой жизни решено. Говорят, учитель и ученик связаны между собой в девяти рождениях. Потому и узнают друг друга с первого взгляда. Потому и доверяют друг другу. Уже виделись. Уже вместе росли.

– Это как еще – вместе росли? – фыркнул в пивную пену Олесь.

– Да не как дети по одной улице бегают, в одной луже полощутся... Растет ученик – и учитель растет. Хотя, с другой стороны, именно как дети в одной луже – да, так и есть. Потому что для вечности что ученик, что учитель – дети малые. Учить их еще и учить. Расти им и расти...

– А мне он все равно не нравится. Хейно с ним, как с писаной торбой, носится. Его дело! А мне-то что? Его ученик, не мой. И мне он – не нравится. Дурачок какой-то. Ой... Хейно! – Ганна вдруг приподнялась, просияла.

– Смотрите, Хейно! Пришел все-таки...

– Где? – обрадовался Мак-Грегор, встал, выглядывая тощий длинный силуэт в толпе, а точнее – над нею.

– Да вон же – высокий, вон!

– Ты что, девушка? – удивился Кукунтай. – Волосы же...

– Брюнет, – покачал головой Мак-Грегор. – Что это ты, Ганнуса?

Ганна перевела на друзей испуганные очи:

– Правда, волос черный. Как это я так? Ой, не к добру это!

– Ну, Ганна, не полоши себя попусту. Мало ли что померещилось. Против солнца смотрела.

Ганна отмахнулась и проводила высокого тощего незнакомца мрачным взглядом. Он давно удалился, скрылся в толпе, а она все никак успокоиться не могла: кружку с места на место переставляла, отламывала куски пирога и оставляла на тарелке, то и дело пыталась встать и идти к прилавку, вместо того чтобы кликнуть подавальщика.

Что такое тревога? Вот ведь – не чувствуешь ни любви, ни страха, просто всё остановится внутри и больше не движется. Не может двигаться, теряет это свойство. Потому и не чувствуешь ничего. И поверх бесчувствия души – мечешься телом, словно оно за двоих пытается двигаться, испугавшись неподвижности души.

– Ладно, ладно тебе! – пытался ее успокоить и Хо. – Ну с чего ты взяла, что это вообще что-то значит?

Ганна вскинула голову – резкие слова едва не сорвались с губ. Но застыла, переменившись в лице, побелела вся. Мастера повернулись в ту сторону. Незнакомец стоял перед ними, слегка сутулясь, как Куусела сутулился обычно. И куртка на нем была – старая куртка мастера Хейно, вся в штопке и заплатках. Он стоял, сунув руки в карманы, и молчал, и мастера молчали, глядя на него. Он был какой-то странный и этим пугал – то ли сумасшедший, то ли просто очень больной: и ежится, и глаза горят бессмысленно, и перекошен обветренный рот. Ганна прижала руки к лицу, чтобы не закричать от нахлынувшего ужаса. И тут края куртки зашевелились на груди знакомого – и на свет вылезла, моргая и широко разевая длинный клюв, встрепанная черная птица, вроде ворона или грача... или поменьше – может быть, скворца или дрозда какого-нибудь. Трудно было ее рассмотреть толком, хотя она вот – вскарабкалась по заношенной замше и уселась на плече знакомого с важным видом, переводя взгляд блестящих черных глаз с одного мастера на другого.

– Я пришел, – сказал вдруг незнакомец очень хрипло, с трудом, так что почти никто не разобрал его слов. – Я вас позвать пришел, – сказал он уже легче, как будто первые слова проторили дорожку следующим.

– Чего тебе, добрый человек? – ласково спросил его Хо, выходя из-за стола и перемещаясь так, чтобы оказаться между ним и остальными.

– Я Хосеито. Вы меня... Вы помните Хосеито? Мастер умер. Погиб из-за него.

Помолчал, вслушиваясь в глубину чудовищно перемешанных слоев собственного естества, и добавил отчаянно громко:

– Из-за меня.

## Ганна Гамаюн

Пили на поминках по Хейно крепко. Уговорились только, чтоб до света уйти в Суматоху – там их косые спяну очи ничего уже не разворотят, не размажут, не порушат.

Ганна вровень с Хо и Мак-Грегором опрокидывала чарку за чаркой и с ужасом понимала, что злая пеннистая горилка льется в горло, что твоя вода. Огонь в груди жег сильнее пьяной отравы. Укрытый еловыми лапами холмик, от которого ее не смогли увести – унесли – мастера, стоял перед глазами, и сквозь него видела теперь Ганна всё: и стол, словно в насмешку уставленный богатой стряпней, и кривое стекло бутылей, и лица друзей, с которыми вот никакой беды не случилось, и мальчика этого злосчастливого, погубившего Хейно... и всю свою тоску на сто лет вперед. Чем же горе залить, хоть бы на час какой?

Ганна поднялась – и оказалась опять сидящей на прежнем месте за столом. Снова дернулась вверх, еще раз... Ноги ее не слушались. Не так проста оказалась белая, без всяких прикрас вроде изюма или перца, честная горилка. С ног, выходит, свалила. Но горя-то не утишила!

Так горело в груди, что Ганна решила во что бы то ни стало выбраться наружу, на воздух, в прохладу ночную. Посидеть на бревенчатом крыльце – как мечтала с Хейно сживать вечерами, да вот не позвал ни разу – ни замуж, ни просто так. И не позовет уже. Ждала-ждала, да и нечего стало ждать.

Ах, губы крепче закусить – мне против такого горя выстоять еще, неужто против горилки не стою ничего? – так и встала, и вышла из-за лавки, и до двери дошагала. Остальные и не заметили – далеко уже за полночь было и не одна бутылка каталась под столом, досадливо пинаемая ногами.

А за дверью ночь стояла черная, как будто и нездешняя какая-то. Из черноты сыпался и шуршал в листьях и траве угрюмый дождь. Холодная, ясная эта новая часть мира оплакивала своего мастера. Но у Ганны было собственное горе, с этим несоединимое, и плакать вместе с дождем ей было невмоготу. Так и стояла столбом под навесом крыльца, пялясь в темноту внутри себя.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.